

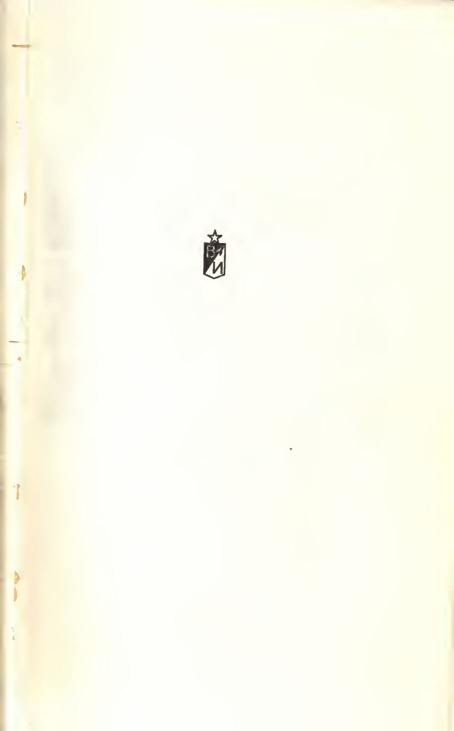
БОРИС ЕГОРОВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

За активное участие в общественной работе группы [redacted] награждается [redacted]

секретарь комитета ВЛКСМ [redacted]

с/юм. [redacted]





Б О Р И С   Е Г О Р О В

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...



Ордена Трудового Красного Знамени
Военное издательство
Министерства обороны СССР
Москва — 1972

Р2
Е30

Егоров Б. А.

Р2 Продолжение следует... М., Воениздат, 1972.

224 стр.

Борис Егоров, бывший в Великую Отечественную войну артиллерийским офицером, после выхода книги «Песня о теплом ветре» много путешествовал по местам боев, по местам юности, разыскал живых прототипов героев — своих боевых товарищей.

«Продолжение следует...» — это увлекательный, поэтический рассказ о войне и наших днях, о необыкновенных судьбах людей, о счастье, о месте человека-солдата в строю строителей коммунизма.

7-3-2
171-72 Е30

ЧАСТЬ I

ЮГО-ЗАПАД



Эти строки о войне и о своих сверстниках я пишу в Подмосковье, недалеко от станции Лобня.

Шумят пригородные электрички. И почти не смолкает гул самолетов. Самолеты поднимаются со столичного Шереметьевского аэродрома.

Аэродром рядом. Самолеты летят еще так низко, что на них видны опознавательные знаки. Знаки авиакомпаний разных стран. Шереметьево — порт международный.

Улетают гости, друзья. Улетают люди с конференций и форумов. Держат путь по воздуху завершившие переговоры дипломаты.

А под крылом у них — на земле, на высоком каменном постаменте,— стоит старая зенитная пушка. На постаменте выбиты слова: «Здесь был остановлен враг». И далее: «На этом рубеже 1—3 декабря 1941 года артиллеристы 13-й батареи 864-го зенитного артполка остановили фашистские танки, рвавшиеся к Москве».

Снимем шапки перед этим памятником! Вспомним героев, вспомним суровую осень и жестокую зиму.

Той осенью я был в Москве. Артиллерийская школа, в которой я учился, строила укрепления на подступах к городу, и до нас доносилась артиллерийская канонада. Над нами летали желтобрюхие «юнкерсы».

Тогда нам было по семнадцати. На фронт нас не отправляли. Не отправляли, несмотря на то что на комсомольских собраниях мы не раз принимали решения: «Просить командование...»

Зал в такие минуты гудел, руки тянулись, а на трибуну взлетал рассвирепевший старший политрук Сергей Александрович Поляков. Стучал ладонями по пюпитру и перекрывал своим громким, властным голосом шум зала:

— Тише! Прекратить голосование! Командование без вас знает, что с вами делать. Всем останется, всем достанется!

У пушки останавливаются туристы, экскурсанты.

— ...неужели они были так близко?!

Фашистским танкам оставалось всего несколько километров до Дмитровского шоссе, до Красной Горки, до канала Москва — Волга.

У Красной Горки стоит придорожный знак «29 км». Это от центра города.

В других местах, чуть дальше от столицы, они вышли к каналу.

Злобствующие гитлеровские танкисты расстреливали из пушек скульптуры, установленные у трассы канала. Били болванками по гипсовым физкультурницам. Но мачты высоковольтной передачи, идущей от Рыбинской гидростанции к Москве, они не тронули. Волга над их головами посылала энергию осажденной столице.

Гитлеровцы не взорвали опоры, не перерезали эту линию. Даже не попытались с целью проверки подключиться к ней. По их сведениям, гидростанция не была достроена. И эти сведения на начало войны являлись правильными. Недостроенное здание ГЭС прикрывал брезент. Вместо крыши.

Фашистское командование, руководствуясь своей логикой, считало: если гидростанция не была закончена к началу войны, то какой же смысл отступающим большевикам продолжать на ней работы? И еще: откуда у русских найдется столько сил и упорства, столько настойчивости, чтобы в короткий срок в такое тяжелое время завершить стройку?

Более того, бездействующей немцы считали Рыбинскую ГЭС и в начале сорок четвертого года. Она для них не представляла интереса. Об этом говорила карта, найденная у сбитого тогда фашистского летчика...

...Улетают самолеты. А под ними, на земле, — пушка.

Эта пушка, окрашенная в зеленый фронтовой цвет, и сейчас стреляет.

Не снарядами — самим фактом своего присутствия здесь.

Она говорит: до Москвы оставались считанные километры, а пал все-таки Берлин.

Она напоминает, что даже из трагических, катастрофических обстоятельств мы победителями вышли.

Своими силами вышли. Теми силами, которых вроде бы уже и не было. Так писали газеты на западе: не было. И что Красной Армии почти не осталось. И психика у народа подавлена и расстроена.

Мерили по себе. Прикидывали: «А если бы у стен нашей столицы стояли пятьдесят дивизий врага? Дивизий, которые ежедневно вооружает и снаряжает весь континент? Что было бы? Сдались бы...»

И сдавались. Сколько столиц пало в Европе!

Французские буржуазные правительства строили «линию Мажино». Эта линия, обошедшаяся в свое время в миллиарды франков, так и не сыграла в обороне Франции никакой роли.

Теперь она... продается по кускам. Желающие — и, конечно, имеющие франки — приобретают подземные казематы, бетонные артиллерийские гнезда и устраивают в них... плантации шампиньонов.

А в старой Брестской крепости шампиньоны не разводят. Сюда идут на поклон. Идут подышать воздухом отваги и бессмертия.

Немцы не подключились к высоковольтной линии, шедшей от Рыбинской ГЭС к Москве, чтобы проверить, есть ли в ней напряжение. Этот технический факт сам по себе ничего не означал бы, если бы не свидетельствовал о том, что они не попытались подключиться к нашим сердцам. Не проверили, какое в них сопротивление, напряжение. Какой сокрушительный для захватчиков зреет в них разряд!

Напряжения, силы хватило не только на оборону. Не только на то, чтобы себя отстоять.

Те западные газеты, что хором писали о неминуемом падении Москвы, объясняли наши последующие победы «русским чудом». Чудеса — для маленьких детей и для невежд. Потом говорили о «загадках русской души». За-

гадки — тоже детская категория. Пытались «подключиться» к нашим сердцам. «Подключаются» и сейчас. Но... испорченными аппаратами. Умышленно испорченными. Себя обманывают.

Нет, пожалуй, понятия более емкого, чем сердце. Сердце — бьющийся комочек, в котором все качества человеческие. Сердце может быть добрым и злым, гордым и жалким, смелым и трусливым, великодушным и мелким, свободным и рабским, твердым и мягким, верным и предательским, чутким и глухим, любящим и ненавидящим. Сердце может быть беспокойным, неустанным, терпеливым, упрямым, горячим, мятежным, звонким, суровым, пылким, пламенным.

А откуда пламень? Не от самовозгорания. Сердца зажигают...

Хочу рассказать о сердцах мне близких, о моих товарищах, сверстниках, о моем поколении и его времени.

Почему вдруг именно сейчас начинаю этот разговор? Несколько лет назад я написал повесть «Песня о теплом ветре». В «Песне» говорилось о том, как окончившие семилетку московские ребята по комсомольскому призыву поступили в специальные артиллерийские школы. Перед войной. Как шагали они потом вместе со своими фронтовыми товарищами по военным дорогам.

Спецшколы существовали в Москве, Ленинграде, Киеве, Одессе, Харькове и других городах.

Они дали фронту, вооруженным силам, тысячи артиллерийских офицеров. Это была комсомольская гвардия!

Партия готовила страну к обороне и обратилась к молодым: идите служить в артиллерию!

Служить захотели многие. Приемные комиссии вели отбор строгий. Отсеивали абитуриентов физики, химики, математики. Отсеивали врачи. Экзаменовали на брусьях и турнике преподаватели физкультуры. Вели проникновенные беседы политруки.

Каждый предвоенный год в конце августа в вестибюлях спецшкол вывешивали списки новичков. Списки радостей и огорчений. Понуро, нахохлившись, стояли перед ними ребята, которым в приеме отказали. И весело галдели те, кто нашел на листках свою фамилию.

В пятнадцать лет отчаянные московские мальчишки надевали военные шинели. А иным и пятнадцати не было: в метриках — сплошные подчистки. Переправляли ребята месяцы рождения в своем единственном пока документе. Месяцы не шутка: из XII можно сделать I. Торопились в комсомол, торопились в спецшколу.

В Москве таких школ было пять. В разных районах. Все вместе собирались только во время лагерных сборов и подготовок к военным парадам на Красной площади.

По площади шли одним сводным полком. Под свой собственный марш: «Мы в нашу артиллерию служить пойдем...»

И это были не все «спецы», а меньшая часть. Каждая школа выставляла одну «коробку» — двести человек. Отбор — по успеваемости. Существовало нечто вроде проходного балла на парад.

Но ребята оставались ребятами, и, отчитывая их за мальчишеские проделки, преподаватели и командиры неустанно твердили: «Расстаньтесь с детством. Вы в военной школе».

А потом детство ушло. Само. И очень быстро. И юность пролетела в войне.

В той повести вымышленных фактов нет, но я заменил фамилии героев. Под своими именами остались только радист Кучер и санинструктор дивизиона Любка — светленькая, полненькая, подвижная, бойкая девчонка.

Она появлялась со своей санитарной сумкой в самых опасных местах. Шла туда, где гремели разрывы. Торопилась как скорая помощь. Перевязывала раненых и слушала, не забьется ли сердце у того, у кого оно остановилось.

А потом возвращалась из-под обстрелов и бомбежек, балагурила:

— Тяжело воевать, мужики?

Ей везде и всегда были рады:

— Любка?! В целости-сохранности?!

Любка смеялась:

— Меня не убьют! Меня никогда не убьют! Я вечная.

Она и вправду была вечной.

Однажды под Лисичанском мы шли с ней с наблюдательного пункта дивизиона в штаб. Немецкие артиллери-

сты заметили нас и начали за нами охоту. Такие развлечения они любили. Снарядов у них было еще много.

Мы спрятались в ровик у дороги. Огонь не стихал, снаряды рвались все ближе и ближе. Нас стало засыпать песком с бруствера. Любка крикнула мне, тогда новичку на фронте:

— Бежим, лейтенант! В разные стороны. Вы направо, я налево. Может, они растеряются...

В окопчике действительно оставаться больше было нельзя. Мы побежали.

Немцы и вправду на несколько минут растерялись, выбирали, за кем погнаться. Погнались за Любкой.

Я достиг безопасного места, стал наблюдать за ней.

Она бежала, окутанная разрывами. Падала, поднималась, снова бежала зигзагами. То пропадала в дыму, то возникала снова.

Когда ей оставалось совсем немного до гребня холма, вокруг нее выросли сразу четыре белых куста разрывов Фашистская батарея ударила залпом. Я стал считать: раз, два, три, четыре...

И вдруг она появилась на самом гребне! Жива!

Через несколько минут я нашел Любку сидящей в ложбинке, около маленького озерца. Заметив меня, она сказала спокойно, безразлично:

— Отдыхаю.

— Не задело?

— Все нормально, — ответила она. — Только грязная как кочегар. Лейтенант, отвернитесь. Мне помыться надо.

Она долго плескалась за моей спиной, потом сказала:

— Можете повернуться. Кстати, помыться надо и вам. У вас тоже не совсем гвардейский вид.

Любка начала расчесывать волосы и вдруг произнесла, словно разговаривая сама с собой:

— Сволочи, не стыдно так девчонку пугать?!

В минуты затишья Любка устраивала сольные концерты. Сядет на ящик из-под снарядов или на поваленное дерево и поет:

Теплый ветер дует. Развезло дороги,
И на Южном фронте оттепель опять.

Наш фронт назывался Юго-Западным, но эту песню все считали своей.

Любка говорила: «Я стала южанкой». «Ан» произносила в нос, кокетничала.

Она никогда не унывала, хотя столько видела трагедий. И каждый день провожала солдат и офицеров в дальнюю, полную боли и тревожной неизвестности дорогу — в медсанбаты и госпиталя. И меня, пришел день, проводила.

Нет, я не имел права давать ей другое имя. Никакие иные ей не шли. Она была Любкой.

...Я не только заменял имена, но иногда списывал одного героя с двух или трех живых людей. Компоновал факты, подчиняя их сюжету. Беллетризировал материал.

Но читатели восприняли повесть как строго документальную. В письмах они интересовались подробностями боев, спрашивали: «Не тот ли это солдат, которого я встречал там-то?», задавали вопросы: что стало с героями повести — «мушкетерами»? как сложились их судьбы? не возвращались ли они в те места, где воевали? не нашлись ли их товарищи? будет ли продолжение?

Тогда на многие вопросы я ответить не мог.

Я понял, что сделал только разведку темы. И решил вернуться к ней снова. И к «мушкетерам» вернуться...

...вернуться в те годы, когда на московских улицах появились юноши в военной форме. На них были коричнево-зеленые кителя, синие брюки с красным кантом. На черных петлицах кителей — две буквы «СШ» и скрещенные орудийные стволы.

Девочки провожали их долгими, значительными взглядами. Мальчишки тоже не сводили глаз со «спецов», безумно им завидовали, но зависть свою не выказывали: соблюдали собственное достоинство и даже именовали учащихся спецшкол полупренебрежительно «кадетами».

Втайне же мечтали о своем «кадетском» будущем.

Мечтал и я.

Гайдар и Островский были прочитаны. «Чапаев» просмотрен шесть раз. Ни один киножурнал о боях в Испании не был пропущен.

Представление о военной службе, как мне казалось, я имел четкое. К тому же в детстве много вечеров слушал рассказы вернувшегося со срочной старшего двоюродного брата Константина Гущина.

Константин служил в ОДОНе — отдельной дивизии особого назначения, которая дралась с басмачами и переброшенными через юго-восточную границу диверсантами.

От ОДОНа мне достался пахучий солдатский ремень и пуговицы, срезанные Константином с шинели.

Пуговицы лежали в коробке. Две из них пошли в дело: на них застегивалась моя «полевая сумка», сшитая мамой из холста.

Тогда большинство ребят ходило в школу с полевыми сумками. Кожаной у меня не было. Приходилось довольствоваться самодельной, весьма похожей на противогазную.

Как демобилизованный красноармеец, Константин получил однажды билет на парад. И я был с ним на Красной площади. Слушал, как в застывшей, торжественно-сосредоточенной тишине хмурого осеннего утра били часы на Спасской. Видел, как на коне из ворот выехал Ворошилов. Смотрел марш академий, училищ, знаменитой первой Московской Пролетарской дивизии и моих родных артиллеристов-алешинцев.

Моих родных потому, что Алешинские казармы были в нашем районе, и на парад алешинцы ехали всегда по Воронцовской — мимо моего дома.

Ехали на рассвете, поэтому ребята с нашего двора тайно заводили тяжелые круглые будильники на четыре утра.

Школа, в которой я учился, находилась в том же переулке, что и Алешинские казармы. Военную жизнь я видел каждую перемену из окна класса.

Несколько раз мы были в самих казармах. Так что я знал и видел уже немало.

А в кармане лежал новенький комсомольский билет, выданный Пролетарским райкомом ВЛКСМ. В комсомол я вступил по документу, который после моего оперативного вмешательства внушал мало уважения. Я был неоригинален.

Искал встречи, разговора со «спецами», и возможность наконец представилась.

В те годы в Гендриковом переулке открылась библиотека-музей Маяковского. С читальным залом. Около библиотеки — садик, в садике — скамейки.

Из школы мы шли сюда. Торопились: зал не маленький, но мест не хватало. Надо было занимать пораньше.

Приходили сюда и старшие школьники, и студенты, и люди пожилые: библиотека была очень богатой.

В музее мы знали каждый экспонат, каждый предмет, афишу. И каждое кресло в зале.

Готовили уроки, писали сочинения, читали стихи.

Здесь, в читальном зале, проходили литературные вечера. Приезжали писатели. Помню, Лев Кассиль рассказывал о выступлениях Маяковского в Политехническом музее. Приезжали артисты-чтецы. Яхонтов выступал. Учил, как читать Маяковского. Мы почему-то думали: раз Маяковский, — значит, громко. А он тихо читал: «...Подошел и вижу глаза лошадиные...» Слово за словом произносит вполголоса и грустно. Смотрит вниз, показывает рукой на тупой носок своего ботинка.

Нам так понравилось яхонтовское чтение, что через некоторое время, узнав, что Яхонтов выступает на улице Куйбышева в клубе финансово-банковских работников, мы, человек десять, поехали туда. Билетов не было. Но в зал мы все же проникли. Пробирались темными узкими лестницами черного хода.

Заболели стихами. Приходя в читальный зал, кроме книг, нужных по программе, брали поэтические сборники.

Летом стихи читать выходили в садик. Строгого глазастого вахтера у выхода из дома не было. Существовало доверие к читателю.

Читали Маяковского и Блока, Уткина, Светлова, Кирсанова, Асеева.

Расходились по домам — и в голове приятный поэтический ералаш:

...Где-то на Азорских островах
Девушки поют чудну́ю песню.

...Хаты слепо щурятся в закат...

...Меня знобил
                    какой-то грипп
больного полузабытья.
Должно быть, я
                    не влип еще
в топь
        трудной жизни
                            без тебя.

...На Карпатах,
...На Карпатах,
Под австрийский
Свист и вой

Потерял казак папаху
Вместе с русой головой.

...Тихие гитары,
стыньте, дрожа!
Синие гусары
под снегом лежат!

А потом, год или два спустя, читали и запоминали асеевское:

...И вот он выходит:
большой, длиннолапый,
обрызганный
ледниковым дождем,
под широкополой,
обвиснувшей шляпой,
под
вылощенным нищетою плащом.
Вокруг никого.
Лишь тюрьма за плечами.
Фонарь к фонарю.
За душой — ни гроша...
Лишь пахнет Москва
горячо калачами
да падает лошадь,
боками дыша.

На одном из литературных вечеров я познакомился с двумя «спецами». Один высокий, с «политическим зачесом», как тогда говорили, — волосы назад. Второй — коренастый, курносый, волосы ежиком — под бобрик. Александр Мамленов и Анатолий Белов.

Друг к другу они обращались: «Ну, мушкетер...»

У Белова на ремешке через плечо — полевая сумка. Кожаная, темно-коричневая, с медным язычком. Командирская.

Они сидели в перерыве на скамеечке. Покуривали. Взрослые.

...«Сколько лет учиться?» — «Три». — «Из какого класса принимают?» — «Из седьмого». — «Документы?» — «Аттестат, заявление, комсомольская рекомендация и письмо родителей: не возражаем, мол. Напишешь письмо сам, они подпишут». — «Какие предметы в спецшколе?» — «Те же, что в восьмом — десятом классах, плюс строевая, стрелковая, уставы, химзащита, артиллерия». — «А после спецшколы?» — «Два года в училище и — лейтенанты».

Образ моей будущей жизни мне был абсолютно ясен.

Когда нас, новичков, третью батарею, построили в первый раз, перед нами выступил директор — И. С. Арцис. Говорил о том, что ожидает нас в стенах школы. Речь закончил словами:

— Ваша батарея особая. Все вы тысяча девятьсот двадцать четвертого года рождения. Добрая половина из вас — Владимиры. Вот у меня в руках список: Владимир Простаков, Владимир Зонов, Владимир Ронинсон, Владимир Жуков, Владимир Рычков, Владимир Смолянкин, Владимир Щеглов, Владимир Новиков, Владимир Пысин, Владимир Попов... Учитесь, старайтесь! Ваш год вас обязывает... Пройдет время, и по вас, по делам вашего поколения будут судить о поступи дел Ильича и о выполнении его заветов. Батарея двадцать четвертого года!

В нашем взводе директор вел историю. Говорил — как на митинге выступал. Не объяснял, а держал речь. Экспромтом, без планов и конспектов. Спросит только вначале: «На чем мы остановились в прошлый раз?», взмахнет темпераментно рукой — и всех уже заворожил.

Из семилетки любви к истории я не вынес. Остались в памяти даты царствований, войн, реформ, восстаний и осталось ощущение того, как скучно и пудно зубрить эти даты. Не подозревал, что историей можно заболеть так же, как и стихами.

В конце второго часа — уроки чаще всего были сдвоенными — Арцис оставлял время для свободной беседы, для вопросов и ответов. Не по программе. Мы расспрашивали его о том, что происходило в мире, просили объяснить события современные.

Шел тридцать девятый год. Уже началась вторая мировая война. Началась в тот день, когда мы переступили порог спецшколы.

Спрашивали: что может быть дальше? как вам представляется будущее?

Запомнил ответ:

— Будущее, наверно, придется решать вам, недаром позвали мы вас в эту школу.

Директор был штатским, но носил военную форму. Военную форму носили все преподаватели. Мужчины — френчи под ремень с портупеей, женщины — жакеты. Петлицы — артиллерийские. Без знаков различия. Знаки — «кубики» и «шпалы» — были у командиров, присланных из армии.

Командиры вели военные предметы и следили в школе за порядком и дисциплиной.

От нас кроме учебы требовалось, чтобы мы соблюдали уставы, дневалили, дежурили, четко выполняли приказы и внутренний распорядок.

Четкость получалась не всегда.

За опоздания на утреннюю поверку давали выговор или наряд вне очереди. Наказывали за то, что «спецы» вставляли в фуражки стальные пружины, чтобы верх был «флотским блином».

Время от времени на утренней поверке раздавался зычный голос командира батареи:

— Кто расклешил брюки — два шага вперед! Пижоны! Дежурный, принесите ножницы, будем выпарывать клинья.

Волосы носить сначала разрешали. А потом польки, боксы, бобрики, «ворошиловские проборы» и «политические зачесы» пошли под нулевку.

Узнав, что в школе появился парикмахер — это обычно бывало после занятий, — «спецы» мужественно спасали свои головы: прыгали из окон первого этажа. Иногда отмечались рекорды — прыжки со второго.

Но в общем школьный режим нас не угнетал. Силой в спецшколе никого не держали. Наоборот, наш командир взвода преподаватель физики Павел Федорович Брагин в минуты кратковременных разочарований ученикам говорил:

— И что вы тут сидите? Только занимаете место тех ребят, которые сюда не попали. Вы видели, плакали же получившие отказ. А вас просто по недоразумению комиссия пропустила... Подавайте заявление, снимайте форму и идите в обычную массовую школу.

Он говорил это не повышая голоса, отчитывал любя. Заканчивал обычно тем, что объявлял провинившемуся:

— В шесть часов вечера явитесь в этот же класс. Буду проверять вас не только по сегодняшнему материалу, а по всему курсу с начала года.

Шесть вечера в школе называли «комендантским часом». На шесть назначали исповедь неудачникам преподаватели литературы Наталья Ивановна Бражник и Екатерина Тимофеевна Костенко, военного дела — старший лейтенант Егоров, немецкого языка — Лидия Семеновна Синицина.

Приняв рапорт от дежурного, Лидия Семеновна обычно бросала на стол пилотку и говорила:

— Начинаю с того же, что и в прошлый раз. Спрашиваю сто новых слов. Незнание пяти из них означает «шлехт». В этом случае назначу прийти в комендантский час. Может быть, в обыкновенной школе это даже «четверка», а у нас «кол». Так что вместо встречи с любимой девушкой у вас произойдет свидание со мной.

Говорила улыбаясь. Она была очень молодой, эта миловидная худенькая женщина, сама себе давшая кличку Штрайххольц — спичка.

Я не помню в спецшколе ни одного преподавателя, который не улыбался бы, не обладал чувством юмора.

Доцент Иринарх Петрович Макаров, молодой ученый с академической бородкой, неистощимо пересыпал свои математические лекции шутками, каламбурами, парадоксами, анекдотами.

— Математика увлекательнее романов Дюма! — утверждал он. — Суть математики — в остроумии. А вам, будущим артиллерийским офицерам, с логарифмами и прочим иметь дело всю жизнь. Если вы всей душой не полюбите математику, она не будет любить вас. И будет мстить. Это она умеет.

Макаров, как и другие преподаватели, основал кружок по своему предмету. Тех, кто посещал занятия этого кружка, называли фанатиками-математиками.

Первым среди них был Борис Федотов.

Правда, на фанатика он не походил. На лице его было написано спокойствие и, пожалуй, безразличие. На уроках скучал, читал посторонние книжки.

Заметив, что Федотову неинтересно, Иринарх Петрович приглашал его к классной доске.

— Вы, как мне кажется, живого участия в нашем собеседовании не принимаете. Мы доказывали теорему. Возможно, вам не нравится наше доказательство и у вас есть более интересное?..

И — ах! — у Федотова имелось другое доказательство.

В математических познаниях с Федотовым соревновался Владимир Смолянкин, бывший помощником командира взвода. Да и другие ребята слабости в науке о количественных отношениях и пространственных формах действительного мира не проявляли.

Отстающих у Макарова не было, но если кто-то вдруг оступался, он говорил:

— Я мог бы предложить вам прийти в комендантский час, но боюсь, за это время в вашей голове более или менее значительных гипотез не возникнет. Но завтра, когда я войду в класс, вы должны быть уже у доски. И сдадите мне рапорт вместо дежурного.

Преподаватель физкультуры — высокий, грузный Евгений Борисович Садовников — встречи назначал на воскресенья:

— Ну, что вы скрючились и висите на турнике, как сарделька? Приходите в воскресенье — я из ваших мускулов начну железо делать!

Но больше всех досаждала нам, конечно, Лидия Семеновна:

— Жду вас в шесть. А если вы, кавалеры, мной недовольны и считаете, что я с вас много требую, жалуйтесь графу Игнатьеву.

Генерал А. А. Игнатьев шефствовал над преподаванием в спецшколах иностранных языков.

Комкор, ныне покойный Главный маршал артиллерии Н. Н. Воронов, шефствовал над преподаванием военного дела и не раз приезжал к нам, на Абельмановскую заставу. Он был инициатором создания специальных артиллерийских школ.

Над строевой подготовкой учащихся шефствовали решительно все командиры и преподаватели. И даже чертежник — сутулый Овчаренко, на котором военная форма не очень гляделась, замечал тихим, глухим голосом:

— Ну, как вы стоите? Что у вас за выправка?

Все преподаватели ревниво следили также за нашей родной русской речью. И Павел Федорович Брагин требовал не только знания физики.

— Предмет вы понимаете. Но, боже мой, как вы его излагаете?! Кто у вас преподает литературу — Бражник или Костенко? Вы усвойте раз и навсегда: советскому государству, армии нужна настоящая военная интеллигенция.

Екатерина Тимофеевна Костенко легко покашливала в кулачок, если кто-либо из учащихся отвечал ей шершаво, неправильно произносил слова или попадал в плен тавтологии.

Это покашливание понимали все.

Вестибюль школы был постоянно оклеен объявлениями, извещениями, афишами: «Стрелковые соревнования состоятся...», «Репетиция духового оркестра назначена...», «Приходите на встречу баскетболистов...», «В воскресенье танцы по расписанию... Приглашайте своих девушек!»

«По расписанию», потому что танцы являлись предметом обязательным. Занятия вел постоянный преподаватель.

На танцы «спецы» шли при всем параде, сияя пуговицами, бляхами ремней и ботинками, доведенными до лакового блеска. В одном кармане брюк — носовой платок, в другом — бархотка для полировки обуви.

Под руку — боевая подруга. Учитель танцев говорил: «дама».

Уклонявшихся от воскресных вальсов и мазурок наказывали, они получали наряд вне очереди — к следующему воскресенью натирали паркет. Это называлось «кто не хочет танцевать с девушкой, будет танцевать со щеткой».

По воскресеньям до начала танцев занималась изостудия. Из моих товарищей к изоискусству был пристрастен Женя Строганов.

В это же время в одной из больших комнат собирался литературный кружок: учащихся на его занятия приходило много.

Помню, я делал однажды доклад о Маяковском — о «Бане» и «Клопе».

Потом прошли годы. После войны оканчивал вечернее отделение филологического факультета МГУ и писал дипломную работу о... «Бане» и «Клопе».

...А наши чтецы выступали перед всей школой — на больших вечерах, где были как учащиеся, так и их «дамы». Среди чтецов был даже один лауреат Московского городского конкурса. С отчаянной увлеченностью и трагическим накалом читал он «Песню про купца Калашникова»:

Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!

В летних лагерях мы ходили на артиллерийский полигон, на стрельбы. Практиковались в топографии и тактике. Изучали устройство полковой пушки, станкового пулемета, винтовки, пистолета. Достигшие артистизма разбирали и собирали их с закрытыми глазами.

С одного занятия на другое шли с песней. Песня требовалась обязательно. Пели удалую «Махорочку», «Три

танкиста» и ранее мне неизвестную: «Джим, подшкипер с английской шхуны...»

В нашем взводе запевалой был Алексей Куликов, нежнолицый парень с румянцем на щеках, обладатель приятного тенора.

Пение было его стихией, как для Федотова математика и для Строганова живопись.

В лагерях — в солдатском быту, в военных играх и походах — испытывалась наша дружба. Здесь навсегда стали моими товарищами Юра Королев, Леша Соловьев, Володя Щеглов.

Дружили и со старшеклассниками. Они были нашими наставниками. Замполитом «батареи двадцать четвертого года» назначили Александра Долгова. На петлицах — четыре треугольничка и комиссарские звезды на рукавах.

Белов и Мамленов школу давно уже окончили, сменили звание «товарищ учащийся» на «товарищ курсант».

Была наша батарея третьей, стала первой — выпускной. Снова поехали в лагерь — и... сигнал тревоги. По тревогам, по частым беспокойным сигналам трубы, мы поднимались в лагерях множество раз. Тревоги всегда оказывались учебными. Но на этот раз мы выстроились и нам сказали: «Война...»

Глубокой осенью сорок первого школа эвакуировалась в Сибирь. Доучивались, сдавали экзамены, а потом отправились в артучилище. В Одесское. Находилось оно на Урале, в тихом, маленьком городке.

Осталось в памяти жаркое, пыльное лето, осень, размесившая на дорогах глину. Столько липкой, вязкой глины, словно свезли ее сюда со всего света!

Еще месяц — два, и дороги стали проезжими, а на внутренних сторонах стен деревянных бараков, где мы жили, начал расти лед.

С шести утра и до одиннадцати вечера — от зарядки и обтирания колючим уральским снегом и до того момента, когда ложились в такие же холодные и колючие, как снег, постели, — занятия.

Слушали лекции, ворочали пушки в артиллерийском парке, писали контрольные, учились водить газик, разматывали катушки с телефонными проводами, шагали по полям с теодолитом и мерными лентами, выстукивали морзянку ключом радиостанции, чистили и лелеяли личное оружие, корпели над планшетами, вооружившись цирку-

лями, хордоугломерами и таблицами стрельб, ходили в наряды и караулы, наносили смертельные штыковые удары по чучелам фашистов, томились в противогазах в «химические дни», хрустели сухарями в дни «сухие», и наконец 17 февраля 1943 года нам выдали лейтенантские кубики.

«Ох, господи, сержанты теперь для нас не начальники! На какой фронт пошлют? Хорошо бы так, чтобы через Москву. Хоть на час забежать домой».

В письмах родителям все москвичи обещали: «Окончу училище — обязательно ждите...»

Родных посчастливилось увидеть только тем, кто был направлен на север и запад: их путь пролегал через Москву.

На других конвертах, в том числе и на моем, стоял штамп — «Юго-Западный фронт».

Влезли в вагоны новоиспеченные офицеры и не по воле своей черепашьим ходом доехали до Рузаевки. А в Рузаевке нас поставили на прикол: все пути забиты.

Стоят составы теплушек. Стоят эшелоны с орудиями и танками. Санитарные поезда. Цистерны. Пульманы с лошадьми. Платформы с понтонами, с разобранными самолетами.

Стоят товарные вагоны с зарешеченными оконцами — для военнопленных. В оконцах — небритые физиономии.

Проходят мимо солдаты с котелками, с углем в ведрах, кивают в сторону небритых:

— Довоевались, сволочи!

Где-то мечутся затурканные маневровые паровозики, гудят беспомощно. Диспетчер кроет по радио сцепщиков и машинистов. Кроет, не думая о том, что его слышат не только закаленные танкисты, но и неискушенные в жизни, нежные на ухо девушки из санитарных эшелонов.

Стелется над станционными и сортировочными путями едкий дым кочевья. Жгут в «буржуйках» вагонов все, что попало, кроме рельсов, которые не горят. Вся Россия, кажется, стала здесь на великий бивуак перед наступлением.

Жевали солдаты пшенный концентрат и ждали своей судьбы. А когда не было концентрата, шли на базар покупать варенец. Попробуешь варенец у одной торговки, у другой, у третьей, пятой... девятой — вроде бы и покупать не надо. Достаточно. Тем более и деньги на исходе.

Охотились за газетами. Где Рузаевка наберет газет на такую прорву народа?

Ходили без конца к военному коменданту. С одним и тем же вопросом: «Когда же?». Комендант смотрел на нас воспаленными немигающими глазами, он был в прострации. Отвечал одно и то же:

— Вы у меня не одни. Всех растолкаем.

Наконец однажды какая-то ночная сила без гудков и предупреждений вырвала нас из рузаевского плена. И понесла. Так что железная печка набок упала.

Радость была короткой. Где-то за Пензой вагоны у нас отобрали. Наши собственные вагоны, заказанные училищем.

Сказали: «Добирайтесь до фронта сами». А как добираться? В эшелоны чужих не пускают.

Мне посчастливилось незаметно залезть под автомобиль с красным крестом в санитарном поезде.

Так я держал путь на юго-запад. Около моего уха стоял сапог часового. Часовые сменялись, докладывали, что ничего не произошло. А я лежал на животе. Ах, какой небдительный народ санитары!

Правда, один сказал:

— Ты, который внизу, не вылезай, когда разводящий придет!

Потом санитарный эшелон стал. Я вылез из-под машины, спрыгнул на насыпь и увидел всех своих товарищей — юго-западников. Каждый как-то прилип к этому эшелону.

Ехали к штабу фронта. Голосовали на шоссейках и грейдерах, ловили попутные машины. И ЗИСы, ГАЗы, «студебеккеры» и «доджи» всегда останавливались. На фронте водители добрые, сердечные. Встречались, конечно, и злые, бездушные. Но тормозили и они: не остановишься — шарахнет кто-нибудь из автомата по скатам, и будешь загорать целые сутки.

Мы побывали в начисто разрушенных Лисках, Острогожске, Старобельске, Сватове. Искали штаб. Говорили нам разное. Больше бдительно молчали.

И все же мы нашли белую хатку, в которой приняли наши пакеты.

Разлетелись, рассыпались «спецы», Володьки в большинстве, по фронтам, армиям, полкам. Не скоро соберутся. И не все.

Но в штабе 312-го пушечно-артиллерийского полка — он находился в дюнах, в песках напротив Лисичанска, — меня ждала удивительная встреча.

— Егоров? Неужто ты?

Это был капитан Мамленов. Обветренный, загорелый. А я помнил его беленьким. На копне темных волос еле держится лихо сдвинутая набок пилоточка.

— Вот это да! — продолжал он. — Чего на свете не бывает! Собираются у нас в полку комсомольцы-добровольцы. Вон идет старший лейтенант Исаков. Он командир батареи. Я начальник штаба дивизиона. А тебя кем благословили?

— Ясное дело, взводным.

Сидели мы на скамеечке перед штабом полка, как некогда сидели в Гендриковом переулке в садике библиотеки-музея Маяковского.

Тогда я спрашивал у Мамленова: «Как у вас в спецшколе?» Теперь я спрашиваю: «Как у вас на фронте?» Словом, я и здесь шел по следам своих старших товарищей.

Не было только рядом еще одного «мушкетера» — Анатолия Белова. Потом, много позже, я узнал, что он в это время находился совсем недалеко.

— Как тут у вас на фронте?

— Да что тебе сказать? Вот уперлись в Северский Донец и стоим. Причесываем немецкие батареи, если обнаружим. Иногда нам от них достается. Берут количеством снарядов. Сто — двести выкинут — могут и попасть. Культура артиллерийская у них низкая.

— Ага! — вздохнул Исаков. — А у нас культура высокая, только снарядов мало. Сколько по правилам стрельбы требуется на поражение цели?

— Смотря какой цели, — ответил я. — Но в общем десятки.

— А нам дают единицы.

Мамленов добавил:

— Но ведь попадаем же, черт возьми! И что интересно: вырабатывается интуиция, обостряется зрение, слух, осязание. Если нет метеосводки, сам определяешь, какую поправку давать на ветер. И смотришь — ошибки нет. После какого-то времени на фронте человек сам становится прибором...

Потом уже Мамленов закидывал меня вопросами: где

сейчас спецшкола? Кто из преподавателей и командиров остался в ней, кто на фронте?

Сведения мои были не свежие. Уже много месяцев прошло, как я уехал из школы. Но для Мамленова, который не первый год на фронте, все в новость.

Сидели мы на скамеечке до тех пор, пока в небе со стороны Лисичанска не появилась «рама» — немецкий разведчик-бомбардировщик «Фокке-Вульф-89».

Противно гудя, «рама» начала свой медленный облет наших позиций.

— Высматривает, фотографирует, — пояснил Исаков. — Сейчас сбросит, гад, свои четыре штуки. Давайте-ка, ребята, в окоп.

Поднялась беспорядочная стрельба. С разных сторон по «раме» били из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ружей. Тявкнула несколько раз зенитка.

Близко-близко в соседнем селе Боровском один за другим раздались четыре бомбовых взрыва.

— Ну, теперь пойдем по своим дивизионам, — предложил Мамленов. — «Рама» больше не опасна: у нее в запасе только листовки остались. Но надо поторапливаться: «рама» улетает — начинается артобстрел.

Прогноз бывалого фронтовика оказался точным, и в воздухе, как дневной снег, запорхали бумажки.

Поднял одну из них, прочитал: «Русские солдаты и офицеры! Сдавайтесь нам в плен! Мы обещаем вам свободу ремесла и частного промысла... Каждому, кто перейдет на нашу сторону, мы гарантируем земельный надел...»

На обороте листовки — рисунок: бородатый русский крестьянин в длинной рубахе и закатанных по колено портах, счастливо улыбаясь, пашет землю сохой, соху тянет рогатый вол.

Нашли приманку, психологи и сердцеведы!

...Минут через десять — пятнадцать из-за высот за Северским Донцом донеслись похожие на хлопки звуки орудийных выстрелов, и вслед за тем воздух наполнился свистом, воем, гулом: «рама» сообщила, что ей удалось высмотреть.

Но мы уже вышли из зоны обстрела и спешили по своим дивизионам.

Новоприбывшего лейтенанта назначили командиром топографического взвода. Шагал он с теодолитом, мерны-

ми лентами и шестами по дюнам, болотцам и опушкам рощ. Вымерял вместе со своими солдатами-топографами углы и расстояния, наносил их на фанерный планшет, определял координаты батарей и наблюдательных пунктов своего дивизиона. Это то, что на деловом языке устава боевой службы называется привязкой боевых порядков.

Работа, в общем, мирная. Главное, будь точен. Чуть не так начертил на планшете угол — и ошибка непоправима: сдвинутся все линии, сдвинутся и точки, означающие первые орудия.

Батареи откроют огонь, а снаряды и близко к цели не упадут. Ошибки топографов обходятся дорого.

Работа мирная, но опасная: постоянно являешься предметом охоты немецкой артиллерии. Очень часто на виду. И танцуешь от мест, точно обозначенных на картах — от тригонометрических пунктов, от перекрестков дорог, от часовен и церквушек. А противник заметит и бьет по тебе осколочными.

Под таким психическим огнем новоприбывший лейтенант делал первую привязку. И немного напортачил.

Нанеся координаты батарей на карту, командир дивизиона капитан Красель расхохотался:

— Лейтенант, у вас первое орудие стоит на воде, в озере... Завтра утром все переделать.

И лейтенант почувствовал, как у него горят уши.

С рассветом он поднял топографов и снова шагал по дюнам, болотцам и перелескам. И снова, спустя несколько часов, он был на НП капитана Краселя.

Красель сделал наколы на карте, потом на своем командирском планшете — чертежной доске, оклеенной ватманом. Сказал густым басом:

— Теперь дуже гарно. Все, как у меня.

— А у вас данные откуда? — робко спросил лейтенант. — Разве привязка уже производилась?

— А как же? Неужели мы откладывали эту работу, ожидая вашего прибытия на фронт?

Потом лейтенант узнал, что топографическая привязка была проведена несколько дней назад при участии самого командира дивизиона. Удивился: у него и так много дел, почему он не поручил кому-либо из офицеров? Ответили: а он топовзвод проверял. Надо знать Краселя. Комдив без конца всех тренирует и проверяет. То на огневой из ору-

дийных расчетов пот гонит, то командирам батарей спать не дает, то радистам учения устраивает.

Позже лейтенант познакомился с Иваном Ивановичем Краселем ближе.

...Командир дивизиона поднимался всегда в одно и то же время — в 6.30. Делал зарядку, работая с гирей. Гирю он возил с собой так же, как белье и бритву.

Это был рослый человек с широкой грудью атлета. Ходил чуть пружиня голенастыми ногами. Лицо живое, энергичное. Взгляд внимательный, пристальный.

Когда ему о чем-либо докладывали или рассказывали, он слушал молча, иногда вставлял:

— Угу, угу, развивайте вашу мысль.

В конце вдруг неожиданно спрашивал:

— А что, если все это не так, а наоборот? Вы рассуждаете исходя из определенных данных, но на сто ли процентов вы уверены, что они правильны? Попробуйте прокрутить в голове другой вариант. Да вы не обижайтесь. Запасные варианты надо иметь всегда. Дело непростое. Це дило надо разжуваты.

В русскую речь у него вкрапливались украинские слова и фразы. Родом он из Донбасса. И в то время часто говорил:

— Знаете, сколько отсюда до моей хаты? Совсем близко. Двинем в наступление — мимо не пройдем.

А пока была оборона, и Красель с утра до вечера теребил командиров батарей и начальника штаба:

— Я просил подготовить данные по дополнительным целям. Срок назначался на девять ноль-ноль. Где данные? Как идет оборудование запасных позиций? А ложных? Что? Нельзя все делать одновременно? У вас в батарее трех плотников не найдется, что ли? Надо быстрее делать деревянные пушки. И пусть, черт возьми, «рама» их бомбит! Я прошел по батареям. У них никуда не годная маскировка. Что сделали? Вечером вызовите всех командиров отделений тяги в штаб. Перед этим дайте команду завести моторы. Засеките время на готовность к маршу. Не век нам здесь сидеть.

Красель часто подчеркивал: «Война — это работа». И в тихие минуты, когда можно отлежаться, поспать, он говорил словно сам с собою:

— Что бы такое зробыть? Ага, есть одна идея...

Он садился за планшет и начинал колдовать над ним.

— Появилось еще несколько целей. Давайте-ка, лейтенант, вместе подготовим по ним данные. Вдруг возникнет необходимость шарахнуть туда десяток чушек...

Однажды он придумал приспособление, которое убыстряло работу на планшете. Шутил:

— Эту комбинацию из рейсшины, целлулоидного круга и линейки на заклепке я когда-нибудь запатентую как изобретение.

Топовзводом лейтенант командовал всего один месяц.

— Вот что, молодой человек, теперь вы офицер уже обстрелянный, — сказал ему капитан Красель. — Даю вам возможность вырваться на оперативный простор. Сдавайте топовзвод лейтенанту Литовченко, а сами с сегодняшнего дня будете начальником разведки дивизиона. Обязанности представляете ясно?

— Так точно.

— А все-таки как вы представляете?

— Оборудовать ваш наблюдательный пункт, вести круглосуточную визуальную разведку, следить за передвижениями противника, держать связь с пехотой, обнаруживать цели...

— Главным образом — батареи. Учтите: наша первая задача — контрбатарейная борьба. Следите, следите, следите за батареями. Днем и ночью. До красных глаз. И обо всем докладывайте мне.

И лейтенант докладывал. Первый раз — утром. Выслушав доклад, Красель садился за стереотрубу.

...— А вы заметили, лейтенант, что вот на той улице в Лисичанске, поправее содового завода, за ночь выросли деревья? Вчера их не было. Смотрите, я туда направил крестик.

— Это, товарищ капитан, новая немецкая батарея. Я вам о ней докладывал. Она вела огонь ночью. Смотрите: отсчет угла на стереотрубе совпадает с тем, какой записал в журнале дежуривший ночью разведчик. Труба была направлена на вспышку выстрелов.

— Да? Как просто! А если все это не так? Если батарея кочующая? Если они нам голову морочат?

— Тогда надо продолжить наблюдение.

— То-то же. Посадите разведчика за вторую стереотрубу и пусть смотрит только в это место. Не упустить ни одного движения! А если батарея сделает хоть один выстрел, мы ее — в щепки! Я-то думал, что бы такое зробыть? Теперь дело есть. Свяжитесь с пультом звукозасечки, нет ли у них этой цели. Запросите метеосводку. И давайте готовить полные расчеты. Вы — свои, я — свои. Потом сличим. Короче говоря, эту батарею мы с вами приговариваем к смерти.

Если предварительные разведданные подтверждались, Красель «приводил приговор в исполнение».

Садился к стереотрубе, расстегивал воротничок гимнастерки, чтобы свободнее было дышать, подавал команду:

— Дивизион, внимание!

Говорил ровно, спокойно. И могучий, многоствольный, натренированный организм дивизиона приходил в движение.

— Батареи — к бою. Цель номер восемнадцать. Доложить о готовности.

Все расчеты были переданы на огневые позиции, разумеется, заблаговременно.

Стрелял комдив сначала одной батареей. Он говорил: «Веду дуэль». Остальные две батареи держал в резерве.

Однажды во время очередной «дуэли» мы увидели, что вражеские артиллеристы разбегаются со своей огневой, а часть их предпринимает попытку вывезти орудие из-под обстрела. Красель скомандовал:

— Дивизион, залпом...

«Приговор» был приведен в исполнение до конца.

Управляя огнем, капитан время от времени бросал мне:

— Лейтенант, вы наблюдаете? Наблюдайте и записывайте. Вечером вызову к себе комбатов и будем делать разбор этого боя: кто тут плох, а кто хорош...

А потом мы с командиром отделения разведки старшим сержантом Богомоловым ползем к передовой, к Северному Донцу, и оказываемся в штабе пехотного батальона. Допрашивают «языка», длинного рыжего унтер-офицера.

Ночью приходит радист из дивизиона: на следующий день предстоит разведка боем. Пехота попытается фор-

сировать Донец. Будем ее поддерживать огнем. Связь — с НП Краселя.

При благоприятном обороте событий мы тоже пойдем на тот берег реки.

Командир батальона спрашивает «языка»:

— Почему вы сегодня утром вывесили на своей стороне белый флаг?

— Это была шутка.

Белый флаг, целая простыня, развевался над Донцом несколько часов. По всем телефонным линиям летели вопросы: «Вы видите белый флаг?» «Простыню заметили?», «Что может означать эта затея?», «Ну, конечно же, не то, что они здесь капитулируют. Время тянут, дьяволы. Повод для разговоров дают».

...Они еще шутят. У них еще прорва снарядов, и фашистская авиация постоянно «висит» в воздухе на нашем фронте.

Барражируют в небе «мессеры». Появись наш самолет — нагонят, собьют.

Пройдет немного времени, и все изменится. А пока так. И «язык» в штабе батальона держится нагло.

— Что вы со мной сделаете? В лагерь посадите?

Май сорок третьего. Сталинградская битва уже была, Орловско-Курская — еще предстояла.

В глазах у рыжего фашиста ненависть такая, что, кажется, они вот-вот от нее лопнут. Сидит, зло, презрительно кривит губы.

На столике перед немцем то, что вытащили из его карманов: фотография жены с детьми, пачка сигарет, несколько золотых колец в спичечной коробке, записная книжка.

Это первый гитлеровец, которого я вижу.

— Что у него в книжечке? — спрашивает командир батальона старшину-переводчика.

Старшина листает записную книжку.

— Так, ерунда. Записывает, когда что ел. А вот тут женские имена. Любовницы, должно быть. Аккуратный: все приходует.

— Где документы?

— Наверно, выбросить изловчился.

— Спросите у него, почему он считает, что мы отправим его в лагерь, а не расстреляем здесь же?

— Он считает, что это будет негуманным отношением к пленному.

— Ха-ха-ха! — смеется капитан. — А ты не пленный. Ты нам не сдавался. Ты — «язык». И если не будешь говорить правду, я пристрелю тебя вот из этого пистолета. Кем ты был?

— Учителем.

— Интересно. И чему же ты учил?

— Истории.

— Старшина, да это же ваш — как это у вас говорят — коллега! Вы тоже учитель истории? Скажите ему.

Услышав, что старшина — школьный историк, унтер-офицер оживляется, замечает:

— Увидим, кто из нас выиграет войну: вы или я.

— Как это понять?

— Бисмарк говорил, что франко-прусскую войну выиграл немецкий школьный учитель.

— Понятно. Значит, так хорошо воспитал будущих солдат?

— Да.

Капитан прерывает разговор:

— Ладно. Хватит истории. Спросите у него, старшина, кем он был сейчас, до того, как вы его умыкнули.

— Поваром, — отвечает унтер-офицер.

— Ой, господи, понавидался я вашей шушеры, — вздыхает командир батальона. — Как возьмешь «языка» — «кем был?» — «поваром», «портным», «конюхом»... Как будто у них вся армия кройкой-шитьем занимается, лошадям овес задает да кашу варит. А как припугнешь такого «портного», так минометчиком оказывается. Или сапером.

Унтер-офицер оказался артиллеристом. Из дивизиона противотанковых орудий. Дивизион прибыл на передовую несколько дней назад, окопался, замаскировался и, чтобы себя не обнаружить, огня не вел.

Это были сведения для меня.

А разведка боем прошла малоудачно. Через Донец переправилась только небольшая группа солдат. Артиллерийский огонь сумели подавить, но мешал пулеметный.

Пехота не поднялась даже вверх по обрыву и вскоре отошла назад.

Однако разведка есть разведка, и результаты, конечно, она имела: выявились огневые средства на переднем крае. Взяли еще несколько «языков».

Будни обороны.

К вечеру мы с Богомоловым и радистом вернулись на НП дивизиона. И этот вечер мне запомнился. Богомолов развлекал товарищей. Пел частушки под балалайку. Озорные, хитрые, бойкие частушки.

Пел подряд, без передышки. Только время от времени спрашивал:

— Какие дальше слушать хотите? Тверские? Саратовские? Скобарские? Курские? Заказывайте. Я все могу.

Он действительно мог все. И играл одинаково умело и на балалайке, и на гитаре, и на гармошке, и на двуручной пиле.

Был до войны Богомолов, кажется, плотником, много ездил по городам и весям. Особенно по весям. Память его хранила несметное множество частушек, пословиц, поговорок, обычаев разных районов Руси. Знал «дразнилки», и если встречал человека, допустим, из Вологды, то начинал говорить с ним по-вологодски. Разумеется, шаржируя вологодское произношение, подчеркивая местные слова и названия. Он мог выдавать себя то за псковитянина, то за владимирца, то за пермяка.

Несколько лет спустя, когда в мои руки попали книги по диалектологии, я не раз отмечал, что диалектологические карты составлены «по-богомоловски». Сущий клад для ученых был сержант Богомолов! Километрами бы его на пленку записывать! Преподаватели, у которых я учился, объясняли, что такое ассимилятивное аканье и диссимилятивное яканье, но так произносить слова, как Богомолов, не умели.

А для него это было развлечение, озорство.

В тот вечер он не выпускал из рук балалайку часа четыре кряду. Поспорил с товарищем:

— Если я сегодня повторю хоть одну частушку, то иду за тебя в наряд. Если не повторю, ты за меня пойдешь. Судьи — все, кто тут сидит.

Разведчиком Богомолов был опытным. Воевал не первый год и любил учить новичков:

— Что-то ты вздрогнул? А? Снаряд просвистел? Ты пойми: который свистит — это не опасный. Это не твой. Который «плачет», тот опасный: ложись. А который твой — ты его не услышишь. Так что не волнуйся... Главное — лопаткой работай. И к земле будь поближе. А от деревьев подальше: на деревьях дурные снаряды рвутся.

Наш 312-й артполк почти не выходил из боев. Только однажды дали ему маленькую передышку. Остановили на переформировку, слили с 1156-м полком, и мы стали именоваться 146-й армейской пушечно-артиллерийской бригадой. В бригаде было девять батарей четырехорудийного состава, тридцать шесть 152-миллиметровых гаубиц-пушек.

Полком командовал полковник Кохапенко, бригадой — подполковник Ханович, затем — полковник Миронов.

Высокий, сухопарый офицер безупречной выправки, Миронов говорил о себе с достоинством:

— Я потомственный профессиональный военный.

Приезжал на НП дивизиона или батареи, спрашивал:

— Снаряды с дистанционным взрывателем есть? Отлично. В том месте неба, куда я навел крест стереотрубы, повесьте кляксу. Правее церквушки ноль двадцать и выше. Не торопитесь, но время засекаю по секундомеру.

Потом «клякса» будет нанесена на планшет, станет называться фиктивным воздушным репером, танцуя от которого можно быстро и точно переносить огонь на внезапно появившиеся цели.

Или вдруг звонил Миронов со своего наблюдательного пункта:

— Вы заметили колонну противника? Открывайте огонь, но я хочу видеть стрельбу на рикошетах.

Стрельба на рикошетах рассчитана на уничтожение живой силы противника и его деморализацию, психическое подавление. Чиркнув о землю, снаряд снова поднимается в воздух. Летит, кувыркаясь, устрашающе стонет и взрывается над головой противника, осыпая его осколками. В окопах и канавах спасения нет. Тем более нет спасения лежащим на земле.

Но надо так рассчитать угол падения, чтобы снаряд не уткнулся в землю, а только коснулся ее и отскочил.

Задачи ставились не из легких, и не всегда командир батареи, поразивший или уничтоживший цель, получал от комбрига благодарность. Иногда полковник говорил:

— Что цель поражена, вижу. Но стреляли вы малокультурно, некрасиво. Это же искусство!

Война шла, а он хотел, чтобы было еще и красиво.

Случалось и так, что, неожиданно появившись на батарейном наблюдательном пункте, он говорил командиру:

— Занимаю ваше место. Вы будете наблюдателем. Стреляю вашей батареей я.

И тогда мы видели, как командир бригады «показывает класс».

Комбриг был строг во всем.

Однажды пришел на огневую позицию. Командир первого огневого взвода — старший на батарее — сдал рапорт. Полковник выслушал и сделал жест рукой: идите, мол, впереди и показывайте мне свое хозяйство. Лейтенант сделал несколько шагов, и вдруг командир бригады увидел, что на шинели взводного нет пуговицы, хлястик засунут под ремень. Полковник остановился:

— Батарею я осматривать не буду. Какой на ней может быть порядок, если сам командир не в порядке? Эх вы, аристократ! Вы офицер, а не подмастерье и должны быть немножечко аристократом.

Бригада называлась «ордена Суворова...».

Капитана Мамленова назначили в ней командиром первого дивизиона, капитана Исакова — начальником штаба второго. «Мушкетеры» были любимцами бригады, и не одна боевая награда была уже на груди у каждого.

Виделись мы редко. Дивизионы по фронту стояли не рядом. Встречались на дорогах, на марше или в штабе на совещаниях.

И тогда кто-то из нас — Мамленов или я — предлагал:

— Ну что ж, устроим вечер воспоминаний?

...Шагали ребята в подмосковных лагерях. Играл оркестр на Красной площади: «Мы в нашу артиллерию служить пойдем...». Громко, торжественно объявлял учитель танцев: «Кавалеры, пригласите дам!» Сидели «спецы» в переполненном зале, слушали, как читал их това-

рищ со сцены: «Ай, ребята, пойте — только гусли стройте...» и «геноссен ляйтерин» Синицина спрашивала сто новых слов. «Если вы мной недовольны, жалуйтесь графу Игнатьеву».

...А капитану Краселю дома побывать не удалось. Наш полк прошел стороной от его родной Горловки. Горловка была освобождена четвертого сентября 1943 года, а шестнадцатого сентября он поехал на газике в разведку пути. Остановил машину, чтобы осмотреть мост — выдержит ли вес орудий, и едва ступил ногой на обочину дороги, раздался взрыв противопехотной мины...

Мне посчастливилось быть с ним в наступлении только две недели. Посчастливилось потому, что он заражал окружающих своей уверенностью и увлеченностью. С ним было легко. Я как начальник разведки дивизиона чаще всего находился на его НП. Вместе сидели в окопах — на высотках, на чердаках школ, на уцелевших колокольнях. И отсюда по телефонным проводам или по эфиру летел на батареи густой голос Краселя: «По пехоте... по танкам... по автоколонне...»

Отстрелялись, сложили стереотрубу, свернули рацию и — на машину, вперед. Мимо дымящихся хуторов и нескончаемых немецких кладбищ.

Вдоль дорог и на окраинах сожженных деревень — строгие, аккуратные ряды свежих березовых крестов. В центре каждого кладбища — кресты побольше: старшие офицеры. На крестах черной краской по трафарету нарисованы награды отправленных на тот свет — тоже кресты.

— Эк, как землю осквернили! Заехать бы трактором по этим крестам!

— Заехать? А они свои кладбища минируют. Тут так заедешь!..

Пустынно в деревнях. Жители либо угнаны в Германию, либо расстреляны, либо еще не вернулись из потаенных мест, где спасались от разбоя оккупантов.

Торчат обгоревшие столбы печных труб — единственные свидетели недавней трагедии.

Пахнет гарью и вином. Винный запах — от садов. Некому убирать ягоды, фрукты. Не нужны они хозяевам. Нет хозяев. И падают на землю перезревшие сливы. Как слезы падают. В тупой, воспаленно-больной настороженной тишине, где слышен каждый шорох, каждый удар. Стук... Стук... Стук...

У каждого человека свой образ войны. У одних война ассоциируется с падающими стенами домов, у других — с сырыми, полузалитыми водой окопами, у третьих — с обозами беженцев на дорогах или с тревожными шагами почтальона: «Что он несет?»

А я при слове «война» вижу одичавшие украинские сады. Некогда они радовали людей. Теперь нет на земле радости.

Поднимается не по-осеннему жаркое солнце. Гниль начинает бродить. И стоят сады в пьяном дурмане.

Не по-осеннему жаркий день был и тогда, когда мы подошли к деревне Александрталь-Пады, бывшей немецкой колонии. И не по-осеннему длинный.

Большую часть его я провел вместе с радистом в виллисе полковника Некрасова. У себя в дивизионе мы сразу окрестили его Чапай.

Он и внешне напоминал Чапаева-Бабочкина и весьма походил на легендарного начдива своим лихим поведением.

Утром приехал в дивизион из штаба артиллерии армии. Сказал командиру дивизиона:

— Будем, капитан, брать эту деревню. Тут у них крепко завязано. Дот на доте. И дома каменные, как доты. Кажется, нам дадут здесь генеральный... — Помолчал и добавил: — Вот что, капитан, дайте мне вашего начальника разведки и радиста. Держите связь с моей машиной.

...Короткая артподготовка, и пехота поднимается, идет вперед по кукурузе. Но, встретив пулеметный огонь, залегает.

Потом чуть правее деревни появляются два «тигра». Бьют по пехоте из пушек. Батальон, видимо, новый, необстрелянный, бежит вспять.

— Шофер, поворачивай на них! — приказывает полковник, и виллис уже мчится наперерез отступающим.

Полковник выхватывает пистолет, стреляет в воздух, кричит:

— Стой, пехота! Стой! Ложись!

Солдаты суетятся, нехотя залегают.

— Кто тут командир?

Выстрел «тигра» — и нас обдает воздухом от пролетевшей мимо болванки.

Шофер выворачивает руль, и мы оказываемся в ложбине.

— Старший лейтенант, связывайтесь с командиром дивизиона! Кроме ваших пушек, этих чертей никто не возьмет. Спросите, кто из командиров батарей видит эти танки, и — огонь!

Радист передает команду. Бьет «девятка» старшего лейтенанта Красова, потом к ней подключается «семерка».

Смотрю в бинокль. Один из «тигров» окутывается дымом разрыва, дым рассеивается, и видно, как «тигр» вертится на месте: повреждена гусеница.

Второй танк разворачивается и уходит.

— Шофер, давай опять к пехоте! Какого черта она лежит?

«Тигр» неожиданно меняет направление и снова идет на нас. Нет, не на нас — он приближается метров на сто к своему замершему и истратившему боезапас собрату и выстрелами из пушки в упор расстреливает его... Чтобы нам не достался.

Тем временем пехота успевает организоваться и опять наступает.

— Шофер, гони к танку!

Боже мой, что делает Чапай! Мне страшно? Нет. Это же в азарте боя.

Интересно рассуждал о страхе мудрый сержант Богомолов:

— Новичок поначалу боится. А потом, месяца через два, никакого страху у него нет. Он уже обстрелянный. Герой. Напролом лезет. Я, мол, бывалый фронтовик. Где наша не пропадала! Но ежели годок повоюет, осторожным становится. Время давить начинает. Нет, он не боится, но неосмотрительно не поступает. Старый фронтовик жизнь свою дешево не продаст... А в общем-то, разное бывает. Я вот одного знал, который смерти искал. Жена ему из-

менила. Письмо получил. Куда только ни лез — и ни одной царапины. От него смерть, как мячик, отскакивала.

Вот так, наверно, она отскакивала от полковника Некрасова.

...Подъезжаем к «тигру». На броне — желтая, оскалившаяся морда зверя. И поднятая для удара лапа. Пониже морды зияет широкая дыра. Около гусеницы лежит большой кусок брони толщиной с кулак.

Какой-то пехотинец сует в дыру руку.

— Ребята, тут шоколад есть!

Полковник сердится:

— Шоколадки ему захотелось! Клади шоколад в карман и — вперед! Лопатку не забудь. Окапывайся, гренадер!

Смотрит из-за танка на деревню. По броне звякают несколько пулеметных очередей.

— Лейтенант, помчали вон к тому отдельному домику! Сядем на крышу, будем громить правую окраину. Это оттуда по пехоте бьют.

Виллис едет по кукурузе, оказывается на дороге.

И вдруг, как по команде, перестрелка затихает, наступает тишина.

Причина ее быстро становится понятной: в небе «юнкерсы». Три десятка серебристых крестиков летят высоко, приближаются к нам. Проходят над нами. Это плохо. Если бы развернулись, значит, не по нашу душу прилетели. Прошли мимо — могут вернуться. И они возвращаются. Медленно, не нарушая строя, делают разворот. Минута, две, три... И начинается землетрясение.

Бомбовые разрывы ползут по земле, как огонь по бикфордову шнуру. С крыши нашего домика летит черепица.

Некоторое время все поле затянуто черным дымом, по-декабрьски темно. Потом ветер сносит черное облако, проясняется, и мы видим, как горит тот «тигр», около которого мы только что были. Добили зверя бомбой.

Соединяюсь по рации с дивизионом. Прошу огня на правую окраину Александрталя.

Первые же разрывы ложатся хорошо. Следующие надо только чуть подправить. Но молчавшая до сих пор немецкая батарея начинает бить по нашему домику.

С крыши снова летит черепица. Остаются голые стропила да прибитые к ним планки.

Успеваю крикнуть в трубку несколько слов. Дальше уже ни меня дивизион не услышит, ни я его.

Молодец шофер: успел отъехать от домика в сторону и поставить машину в воронку от бомбы.

Бежим и падаем. Когда достигаем воронки, в которой укрыт виллис, оглядываемся назад: нашего домика уже нет.

Но мы свое дело сделали. Огневые точки на правом фланге молчат. Дивизион ведет дуэль с немецкой батареей. Пехота занимает Александрталь.

Дорого досталась нам красночерепичная деревня. Но это еще не вся ее цена...

К вечеру мы с командиром дивизиона сидим в штабе, в километре с небольшим от Александрталя, обсуждаем события дня. Я рассказываю о Чапае. «Стой, пехота, ложись!» Цель, с какой он приезжал к нам, неизвестна. Возможно, лично хотел ознакомиться с обстановкой, но обстоятельства сложились так, что он вмешался в бой.

Командир дивизиона чертит карандашом на карте линию передовой.

— Она, как докладывают, проходит вот здесь. За деревней. Метрах в шестистах. Положение стабилизировалось, видимо, до утра.

Но в это время до нас доносится шум перестрелки. Сначала стрекочут автоматы, потом пулеметы, слышны разрывы гранат.

Нет, стрельба не за деревней — в самой деревне. Неужели они перешли в контрнаступление? Тогда почему же молчит артиллерия? Ведь в Александртале стоят сорокапятки и наша батарея старшего лейтенанта Красова — два орудия... Послана на прямую наводку по распоряжению сверху.

— Красова к телефону! — торопливо говорит дежурному связисту командир дивизиона.

— С Красовым связи нет. Только что наладилась и оборвалась.

Мы бросаемся к скирде соломы, залезаем наверх и в начинающих сгущаться сумерках видим, как мчатся в нашу сторону сорокапятки, повозки, автомашины. Отступление, бегство.

А «девятка»? Ничего не понятно в этой обстановке.

— Берите радиста, разведчиков и идите к деревне, — говорит мне командир дивизиона. — Радируйте обстановку.

Нет, не кончится этот душный осенний день!

Слышу, впереди тарахтят трактора. Наши! Их должно быть три.

Но вижу только два. Один тянет орудие, другой — прицеп со снарядами.

Едут не по дороге, по кукурузе. По обе стороны тракторов бегут, пригнувшись, бойцы.

Чуть в стороне от нас поет пулеметная очередь, посланная из деревни.

— Что там?

— Немцы.

— Где Красов?

— На прицепе. Раненый.

— А второе орудие?

— У них... Не отбили.

Произошло просто невероятное. Уходя из Александрталя, гитлеровцы оставили в подвалах, в бункерах и на чердаках своих автоматчиков.

До наступления сумерек они ничем себя не обнаруживали. А потом неожиданно вышли с автоматами, пулеметами, гранатами.

Бой возник сразу везде — в деревне, в тылу и на передовой.

Наши были застигнуты врасплох. Кто наши? Полковые штабники. Связисты, санитары. Артиллеристы из батарей сорокапяток, которые окапывались или отдыхали.

«Девятка» в Александрталь прибыла недавно, и в боевом положении было только первое орудие. Второе стояло в походном, но трактор уже отцепили.

Бойцы «девятки» оказались один на один с противником. Остальные быстро ретировались. Легкой артиллерии много времени на сборы не надо. Свели станины, зацепили орудия на крюки и поехали.

Бойцы «девятки» приняли бой. Сумели не подпустить фашистских автоматчиков к орудиям. Успели завести два трактора и прикрыть их отход с пушкой и прицепом. Вто-

рую пушку привели в походное положение, но мотор трактора завести не удалось. Едва тракторист вставил ломик в маховое колесо, как упал, сраженный автоматной очередью. Убит был и второй тракторист. Тогда за ломик взялся старшина. Он был застрелен в упор с нескольких шагов.

Завладев деревней, часть автоматчиков ударила по нашей пехотной цепи с тыла.

Отступая, стрелковые подразделения обошли деревню с двух сторон и возвратились на те позиции, которые они занимали утром, до контратаки «тигров».

Командир дивизиона курит папиросу, откусывает по кусочкам мундштук, выплевывает.

— Лейтенант Егоров! Принимайте командование девятой батареей... Второе орудие завтра отобьем, если, конечно, не взорвут. Вот, туда его, денек!..

Так я принял батарею. Одно орудие здесь, другое — там. Утром мы его действительно отбили. Александрталь взяли снова.

Оставив эту деревню, гитлеровцы покатились, почти не задерживаясь.

И опять на пути — дымящиеся хутора, взорванные мосты, мертвые танки в кюветах и огрызающиеся пулеметным огнем высотки.

А впереди, за селениями со странными названиями Карачекрак и Янчекрак, за районным центром Запорожской области Васильевкой, на приднепровских просторах дремал старый курган, который на топографических картах обозначен как высота 95.4.

Курган высокий, как террикон, только вершина усеченная, тупая. И склоны его покрыты сухой, выгоревшей на солнце травой. Огня эта трава пока еще не знала.

...Крупные военачальники, вспоминая войну, пишут о взятых городах, о больших кампаниях и операциях. А мы, ротные: деревенька, высотка. Но ведь и победа собиралась по деревеньке, по высотке.

Триумфальное полотнище, которое в майский день сорок пятого взвилось над рейхстагом, ткали все вместе. И в нем есть ниточка каждого.

На одной из фронтовых дорог, не помню где, мы увидели «катюшу», на которой было написано «Даешь Берлин!». И какое же хорошее сразу стало у всех настроение! А мы совсем не на Берлин шли.

Пройдут десятилетия, века — и да пусть не сотрется, не расплывется в памяти человеческой образ советского солдата времен Великой Отечественной! По монументам его не представишь. Фигуры из камня передают отвагу, суровость, решимость. А у иного живого солдата ни отваги, ни суровости, ни решимости на лице написано не было. Но как воевал!

Вечером 30 октября 1943 года командир дивизиона пригласил командиров батарей на восточную окраину села Балки.

На столе лежала карта.

— Вот смотрите: это Балки. Все, что впереди, пока не наше: Благовещенка, Днепровка, Ново-Днепровка, Водяное, Ново-Водяное. Дальше всех — райцентр Каменка-Днепровская. За Каменкой — Днепр, переправа... Сейчас противник на высотах за Балками. Первая задача — взять эти высоты, и тогда мы скатываемся вниз, на равнину, на Каменский Под. «Семерка», «восьмерка» и «девятка» развертываются в районе села. — И в мою сторону: — НП «девятки» на ветряке. Перед собой увидите немецкую высоту 95.4. Это ваш будущий НП. Утром берите своих управленцев и тяните нитку на мельницу. Обоснуетесь там — тяните к штабу. Я буду вот здесь. А сейчас...

Командир дивизиона сложил карту, кивнул ординарцу, тот мигом поставил на стол четыре стакана. И налил в них то, что бог послал. А послал всевышний жидкость цвета марганцовки с весьма агрессивным запахом — свекольный самогон. Дар хозяйки дома.

— Ну, за Каменку! Дело, видимо, скорое.

...И мы ошибались. Рано пили. Ни через два дня, ни через два месяца Каменки нам не взять. Мы дойдем до Днепра только в феврале.

Будут ненастные, хмурые дни перестрелок и долгие черные ночи, вспоротые трассирующими очередями из пулеметов. Ночи, освещенные дрожащим, холодным, потусторонним светом немецких ракет.

В одну из таких бесснежных, слякотных ночей мы встретим Новый год. Зарядим орудия и в 24.00 — залп дивизионом.

Но до Нового года будут и попытки наступлений. И каждый раз, выстрелив десятки тысяч снарядов и проутюжив передовую штурмовыми «илами», наши части не продвинутся ни на шаг.

Перед нами станут, окопаются, зароются в землю и бетон десять дивизий генерала Шернера. Дабы крепче держались, Гитлер посулит Шернеру звание генерал-фельдмаршала, а воякам — отпетым разбойникам — будет платить двойное жалованье: за их спинами — Никополь. Никополь — это марганец для сталей высокой прочности. Марганцевой руды в Германии нет...

Рассветает, и нам надо оставлять огневую позицию, двигаться на мельницу.

— Готовы, ребята? Шагаем.

А пока шагаем и пока тихо, расскажу о каждом из тех, кто пошел в этот раз на НП. Расскажу, что я знал тогда и что мне стало известно позже.

Рядом со мною идет разведчик Маликов — невысокий крепкий парень девятнадцати лет.

На груди — автомат, за плечами — стереотруба в футляре. В руках — лопата, топор.

Идет легко, как всегда, балагурит.

— Маликов, тебе не тяжело? Дай трубу понесу! — кричит кто-то сзади, кажется Шатохин.

— Остряк! — отвечает Маликов не оборачиваясь. — Ты неси свои катушки. Когда почувствуешь грыжу, отдашь мне. На меня знаешь сколько грузить можно? Как на ишака.

Маликов хвастает. Особой богатырской силой он не отличается.

Во взводе управления Маликова прозвали глазастым.

Он и вправду глазастый. Словно родился разведчиком. Зрению и наблюдательности Маликова можно было только поражаться. И еще тому, как уверенно, легко ориентировался он на любой местности.

Много дорог мне пришлось прошагать с ним вдвоем: то с НП на огневую, то в штаб дивизиона или в штаб полка; ходили в пехоту, ездили в разведку пути.

Отрывались от колонны и уезжали далеко вперед: выверяли дорогу, выбирали будущие огневые позиции и наблюдательные пункты. А потом возвращались к батарее, и Маликов на ходу бросал: «Я думал, что вон в том доме, на пригорке, никто не живет, окна были забиты, а сейчас, вижу, одну доску отодрали. Значит, кто-то есть». Или: «Когда мы ехали туда, на дороге был один след автомобиля, шина — елочкой. Теперь появился другой. Видите шашечки? Такие шашки у нашей штабной машины. Трофейные покрышки. А почему же мы не встретили штабную? Куда она делась? Поворотов нигде не было...»

Однажды шли мы ночью лесом. В двух шагах ничего не видно. Только стрелка компаса светится. И гнилушки за крылышками наших пилоток. Это он, Маликов, придумал. Нашел светящиеся гнилушки, предложил:

— Давайте, старший лейтенант, заложим за бортики пилоток по одной такой штуке. Будем видеть друг друга. Не потеряемся.

Карманным фонарем в этом лесу пользоваться было нельзя: лес непрочесанный.

— Маликов, мы, кажется, отклоняемся.

— Ничего. Положитесь на меня. Раз пошел скат, значит, ручей близко. А ручей течет туда, куда нам надо. Левее отклоняться можно, только не правее. Правее должна быть опушка. Перед закатом на ней колготали сороки. Где сороки, туда лучше не ходить.

Мне порою казалось, что трудную фронтовую жизнь Маликов воспринимает как занятную игру. Настолько он был уверен, весел. Настолько он чувствовал себя везде дома.

Черные, цыганские глаза Маликова были не только всевидящими, но и озорными, насмешливыми.

На какие только неожиданные проделки не был способен этот солдат?! Выхватит вдруг телефонную трубку у связиста на НП.

— Огневая? Кто дежурит у аппарата?

— Ефрейтор Бородин.

— Начинаем учения телефонистов. Принимайте команду: по инфантерии... один снаряд... три — огонь... угломер восемьдесят — два нуля... Заряд!

Суетливый и немного бестолковый телефонист ефрейтор Бородин в точности повторяет слова команды, а Маликов хохочет:

— Слушай, ты что, чокнутый? Я говорю глупость, несуразицу, а ты повторяешь. Когда ты научишься что-нибудь понимать в артиллерии? Разве может быть угломер восемьдесять, когда на панораме только шестьдесят делений? Небось домой вернешься — скажешь: был артиллеристом. А ты был попкой. Даже порядок слов в команде не знаешь. Как надо? Сначала называется цель: по пехоте. Потом: гранатой... Дальше: какой взрыватель, заряд, угломер, уровень, прицел... Вот скажу комбату, чтобы перевели тебя с огневой сюда к нам, тогда соображать будешь. А сейчас доложи своему лейтенанту, что ты не разбираешься в командах.

— Есть доложить! — автоматически отвечает ефрейтор, а Маликов снова заливается.

— Что ты говоришь «есть», когда я не имею права тебе приказывать? Ты вообще думаешь? Советский солдат должен действовать сознательно и понимать каждый свой маневр...

Маликов очень любит иронически цитировать фразы из уставов и наставлений. Он не скажет: «Я надел пилотку». Обязательно добавит: «Установленного образца». И если построил блиндаж, то «из подручных материалов». Если поступил, то «сообразно обстановке».

За «учения телефонистов» ему крепко попадало, как и за другие проделки.

Но боевой работой своей он заслуживал восхищения.

Под деревней Белозеркой струсил связист Поройко. Отказался идти с НП на батарею за супом. Не хотел вылезать из блиндажа, вокруг которого бушевал пулеметный и минометный огонь.

Был поздний вечер. Никто не ел с утра. На Поройко смотрели десять пар глаз голодных людей.

Молчание нарушил Маликов.

— Я так понимаю: он уступает свою очередь мне... Ну ладно, студент, так и быть, схожу за тебя. Бульон, может быть, получишь, но картошки не дам. Процежу.

И он ушел. Вернулся через два часа. Спрыгнул в траншею, снял со спины термос.

— Надо же такому — бульон по спине течет...

Термос был пробит пулей.

— А тебя-то, Маликов, не задело?

— Да вот из телогрейки вроде клок вырвало.

— Не только из телогрейки. Смотри, кровь.

— Чепуха. Царапина. Студент, отдавай мне свой индивидуальный пакет. За тебя пострадал.

А в душе этот балагур и весельчак был лириком.

В часы, свободные от дежурств, сидел на НП и набрасывал карандашом в блокноте пейзажи. В его пейзажах всегда присутствовало настроение.

...Одинокое дерево на юру. И рядом с ним — тоже как дерево — разрыв... Журавлиный клин над горящим стогом... По полуразрушенной стене дома вьется виноградная лоза. Ветер срывает с нее листья... Должно быть, сильный ветер: листья отлетают далеко в сторону.

А иногда Маликов рисовал пейзаж-панораму. И отмечал крестиками, где он заметил неприятельскую батарею или дот.

Потом блокнот со своими рисунками он подарил мне:

— Кончится война — будете меня вспоминать.

Вспоминаю, Маликов, часто вспоминаю!

Вытянулись управленцы цепочкой, идут друг за другом. Позади Маликова — Василь Кучер. За плечами — рация.

Кучер — чернобровый, смуглый, остроносенький паренек «с Харьківщины». Наивный, непосредственный и очень честный. Маленький Дон-Кихот. Если в его присутствии циники дурно говорили о женщинах, он мог наброситься на них чуть ли не с кулаками. Из смуглого становился бурым, глаза сверкали:

— Прекратите свои пошлые разговоры! Як так можно?

К красивым девушкам он был неравнодушен. Но ни одной еще в жизни комплимента не сказал. В присутствии Любки или штабных связисток тушевался, молчал. Восхищался на расстоянии:

— Ты подывысь, Маликов! Ай-яй-яй, яка идет!

— А ты что не видел таких? — с напускным равнодушием спрашивал Маликов.

Кучер краснел, сердился:

— Ты сам тоже не видел!

— Знаешь, чернобривый, ты, в общем, толковый парень. Только в тебе еще играет детский восторг.

Всем был хорош Кучер. И связистом безупречным был. За то и выбрали его комсомольцы «девятки» своим секретарем.

Я упоминал уже еще одного бойца — Шатохина. Рядовой Шатохин, видимо, немного постарше Маликова и Кучера. Взгляд у него пытливый, дотошный.

Шатохин тонкий, юркий, подвижный. Такой непоседа, что дежурить у телефона — слушать трубку, привязанную к голове старым бинтом, — для него сущее наказание.

Другое дело — бегать по линии, подвешивать провода на шесты или искать обрыв.

Шатохин вообще любил искать. И знал, что где лежит.

— Отпустите меня с НП, товарищ старший лейтенант. Часика на три...

— Куда?

— Да так. Местность новая, надо посмотреть...

— А все-таки куда ты пойдешь?

— Ну, ладно, скажу. Наш НП у самой железной дороги. И огневая тоже у дороги. А мы пешком ходим. Дрезину бы достать. Тут километров за восемь станция. Я там видал... Эх, кататься будем! Я же для дела.

И что же? Дрезина действительно помогла. Когда началось наступление, на этой ручной дрезине мы сумели прорваться вперед через огневой шквал немецкой артиллерии. Очень уж быстрый у нее был ход.

А бывало и так: потопчется-потопчется Шатохин на одном месте в саду, спрашивает:

— Можно раскопать? Тут мотоцикл спрятан.

— Зачем тебе мотоцикл? К тому же он не твой.

— А я и не возьму. Только посмотрю.

Потом говорит:

— Немножко ошибся. Велосипед.

Однажды после долгих боев вся батарейная связь пришла в негодность. Порыв на порыве. Одни бесконечные узлы. Нового кабеля не дают. Но требуют, чтобы связь работала бесперебойно.

— Куда вы делись? Вас почти не слышно! — кричит

мне издалека командир дивизиона. — Гоните своих бездельников по линии.

— Уже ходили.

— Пусть еще идут. Подвесьте провода на шесты!

— Провода на шестах.

— Знать ничего не знаю! Чтобы связь была! Распустили вы людей.

О том же он говорит и на партийном собрании дивизиона. Я не опираюсь на партийную организацию. Я запустил политическую работу, не разъяснил личному составу значение победы над фашистской Германией.

К себе на НП возвращаюсь в настроении самом мрачном. Уже вечер. И погода аховая: идет холодный дождь с мокрым снегом.

Прошу, чтобы позвали Шатохина. Приходит, спрашивает:

— Что-нибудь нужно?

Это, конечно, не по-военному. Так командиру не докладывают. В другой раз я сделал бы замечание, но сейчас не до этого.

— Нужно, Шатохин, очень нужно. Чтобы связь работала. С дивизионом и с батареей. Пойдите по линии, поднимите на шесты...

— А я ходил, поднимал.

— Так не работает же. Идите и все исправьте.

Шатохин накидывает на шинель плащ, просит разрешения взять мой карманный фонарик и уходит.

А утром я просыпаюсь от громкого, резкого зуммера.

— «Девятка»? Вот теперь отлично слышно.

Не верю своим ушам. Не верю своим глазам.

Телефон передо мною новый, немецкий. И провод от него идет новый.

Прошу позвать Шатохина. Он приходит грязный, облепленный глиной. Столько на нем глины, что даже обмоток на ногах не видать. Протер кулаком глаза, докладывает:

— Ваше приказание выполнено.

— Спасибо, Шатохин.

— Служу Советскому Союзу!

Довольно улыбается, прямо-таки расплывается в улыбке, спрашивает:

— Хорошо, значит, слышно?

— Отлично. А откуда телефон и провод?

Улыбка его становится жуликовато-заговорщической:

— Да пришлось побегать — пошукать...

— А все-таки?

— Ну, это вам не интересно. Вы сказали — я сделал.

Трубка кричит, как репродуктор. И ничто мне сейчас не может доставить бо́льшую радость, чем эта орущая мембрана!

На следующем собрании честили уже других командиров батарей. Их не слышно, «они постоянно куда-то проваливаются». А меня ставили в пример: я извлек уроки из критики, я развернул политическую работу, опираюсь на актив и доходчиво разъясняю бойцам значение победы над фашистской Германией.

Тайну появления хорошей связи я узнал спустя месяц или два. Оказывается, Шатохин пошел попросить кабеля в пехоте, но по дороге повстречал обоз — несколько повозок, двигавшихся в тыл. На повозках лежали трофейные телефонные аппараты и катушки с кабелем. Ночь была темна. А старички извозчики закутались от дождя в плащ-палатки...

За Шатохиным — разведчик ефрейтор Головкин. С карабином и треногой от стереотрубы. Щурится, озирается по сторонам. Такая у него привычка. Не будь этой привычки, разве приносил бы он так часто охотничьи трофеи?

Стрелял он снайперски. Любил карабин и питал неприязнь к автоматам.

— Автомат, он далеко не бьет. И точности нужной нету. А потом, если рассудить, сумасшедшее это оружие. Когда захочет, тогда и стреляет.

Насчет «когда захочет», пожалуй, верно. С автоматом надо было обращаться осторожно. От своего любимого автомата погиб у нас разведчик Коккинаки. Протирал кожух и задел концом тряпочки за затвор...

Произошел и другой случай. Автомат, висевший на стене блиндажа, упал от сотрясения земли на пол. Лежит и строчит. Весь диск в стенку выпустил. Счастье, что в блиндаже никого не было.

— Головкин, кто тебе зайца подарил? — спрашивает Маликов.

— Так тебе и подарят! Иду, посматриваю кругом и

вдруг вижу его, косого, километра за полтора. Ну, я его в левый глаз.

— Обязательно тебе приврать нужно: «километра за полтора».

— Ну какой же я охотник, если не привру? Твое дело — верить или не верить. Ну, набавил трошки. Метров сто с гаком.

— Скажи лучше километр с гаком.

— Километр? Да я жестянку из-под свиной тушенки в воздухе три раза простреливаю. Подкину — бах! — а она еще выше от удара пули летит...

— Ну, ну, понятно. А дальше ее уже в облаках не видно.

Головкин был человек с фантазией, с воображением. Особенно оно разыгрывалось тогда, когда он «выдавал устные рассказы».

До войны он работал на шахтах Донбасса, и в памяти его множество юмористических историй: как устраивался в городе на работу, как продавал на базаре пиджак, как поехал навестить своих в деревню. Это фольклор. Но Головкин не просто пересказывал когда-то услышанное — он щедро добавлял свое. И поэтому в его рассказах встречалось много невероятного.

Те же истории я слышал в исполнении телефониста дивизионного коммутатора Щербины, молоденького паренька с удивительной мимикой профессионала-комика. Он смешно надувал щеки, вращал глазами, оттопыривал губы. Играл любого героя, смеялся, плакал, имитировал голоса детей, старух, сварливых жен.

Рассказывал Щербина на украинском языке. Его импровизированные концерты проходили обычно на лужайках, лесных полянах. Достаточно было ему присесть на траву, как вокруг собиралось человек сорок — пятьдесят. И через несколько минут все уже катались от хохота.

Щербина брал исполнением, Головкин захватывал острым сюжетом.

У командира отделения разведки старшего сержанта Земцова на поясе парабеллум и кинжал.

Я начал его портрет с описания оружия не случайно. До призыва в армию он работал бойцом на мясокомбинате и говорил, что ударом такого кинжала может свалить быка.

В армии Земцов давно. Должен был демобилизоваться, но — война. Столько лет не был в родном доме, что даже не говорил о нем.

Как сверхсрочник, он носил гимнастерку из «командирского» сукна, портупею, добротные галифе с красным кантом и щегольские хромовые сапоги. По той же причине он носил парабеллум. Это придавало ему вполне офицерский вид.

Шагает разведчик сержант Великжанин. Его зовут Вятский. У солдат, как у епископов: один — Вятский, другой — Смоленский, третий — Новгородский. Если имена одинаковые, тогда нарекают солдата по области: Николай Псковский, Николай Владимирский.

Великжанин угрюм и немногословен. Каждый день видит во сне свою деревню, свой колхоз. Читает и перечитывает письма с обстоятельной деревенской информацией: па ком хозяйство держится, кого призвали, кто погиб, кто вернулся инвалидом. Сокрушается:

— В колхозе-то одни бабы!

Шатохин любит технику, а разведчик Лиманский лошадей. Это лихой человек, сорви-голова, ухарь. Ему за тридцать. Нос перебит финкой. Еще на гражданке. Если пытались расспрашивать Лиманского, при каких обстоятельствах это произошло, он делал выразительный знак — прикусывал согнутый палец: молчок, тайна.

Пешком ходил мало, больше передвигался верхом на лошадях. Лошади, по-моему, сами шли к нему. Чтобы добраться до штаба или огневой, он мог найти коня темной ночью в глухом лесу. Только что был пешим и вот уже в седле. Кричит: «Чавела!»

Естественно, боевые донесения и термос с супом он доставлял быстрее всех. Незаменим был также для выяснения различных боевых обстоятельств.

— Вперед надо? Узнать, что там творится? Я сейчас, мигом. Аллюр три креста.

— Какой аллюр? У тебя же нет лошади...

Лиманский прикусывает палец.

Прикусывал палец и командир отделения связи сержант Черпых. Это был веселый, разбитной парень. Без

конца заговорщически подмигивал серыми глазами. Играл урку. Только играл.

Сержант Чернов обычно смотрел на ужимки Черныха иронически-осуждающе. Он говорил мало, но на его лице всегда можно было четко прочитать отношение к происходящему. Скрыть Чернов ничего не мог. Да и не старался скрывать. Этот юноша, комсомолец, пришедший в армию, кажется, из девятого класса школы, был очень сдержан. Он вмешивался в спор или в какой-либо конфликт между товарищами только в крайних случаях. И тогда был решителен, судил бескомпромиссно, веря в то, что он абсолютно прав и защищает правого.

Со школьной скамьи пришел в батарею и связист комсомолец Аксенов — тихий мальчик с кроткой, застенчивой улыбкой. Великолепно работал, знал технику, безупречно выполнял приказы и никогда ни на что не жаловался.

Смотришь на него: сидит дежурит в сыром окопе, промок, дрожит от холода. Он маленький, худенький.

— Как дела, Аксенов?

Улыбается:

— Хорошо.

Командиром отделения радистов был сержант Сергеев. Человек уже с некоторым житейским опытом, поэтому на младших он смотрел с полуулыбкой мудреца.

Любил задавать им каверзные вопросы, прикидываясь непонимающим, и разыгрывать.

Вернется с НП на огневую, его расспрашивают: «Как там на передовой?» Вполне серьезно Сергеев городит такое, что народ только ахает. А Сергеев — дальше. До тех пор сочиняет, пока вымысел не станет очевидным.

— Ребята, он нас опять разыгрывает. Вот вредный.

Но у рассказчика ни один мускул на лице не дрогнет. Его выдает только удовольствие, играющее в глазах.

И еще в глазах Сергеева была хитрость, которая в боевых обстоятельствах шла на пользу общему делу.

Я назвал одиннадцать человек. В документе, который я нашел, сказано, что было двенадцать солдат и сержан-

4*

тов. Сколько ни старался припомнить еще одного бойца из взвода управления, из тех, что шли на НП 31 октября, к сожалению, не смог.

Одиннадцать бойцов и сержантов. Люди все разные. Одинаковы в одном. Это были солдаты сорок третьего года.

Солдаты опытные, профессиональные, привыкшие к тяготам войны и хорошо знавшие врага. И уже посмеявшиеся над ним.

Это были солдаты, познавшие радость побед и потому более, чем ранее, уверенные.

И еще: солдаты, убедившиеся на своем опыте в непреложной закономерности Отечественной войны. А она состояла в том, что наши силы росли, мы набирали превосходство и время уже работало на нас.

Пойдет солдат в штаб армии с донесением, вернется и рассказывает товарищам:

— Ох, ребята, знаете, сколько еще всего за нами стоит! И пехоты понаехало, и артиллерии! Пушек в каждом дворе понатыкано!

А у ребят глаза от возбуждения горят:

— Правда?

— Ну! Сам видел!

...Тихо поскрипывает, разматываясь, катушка с кабелем. Кончается — присоединяем следующую. И опять: скрип-скрип-скрип.

Но вот в сторопе кто-то свистнул, и мы видим, как наперерез нам бежит по кукурузному полю солдат, делает знак рукой: «Стойте!»

Узнаю разведчика из дивизиона.

— Капитан приказал вам, чтобы шли не на ветряк, а дальше, на высоту девяносто пять и четыре.

— Но ведь она у противника...

— Только что взяли.

Минут через пятнадцать нам попадаются трое: два конвоира и пленный. Пленный — высокий белокурый немец. Серый френч расстегнут, один рукав наполовину оторван. Лицо перекошено, на щеке кровь, дышит широко раскрытым ртом, как боксер в перерывах между раундами. В глазах — злой, лихорадочный блеск. Еще не остыл.

— Откуда ведете?
— С высоты девяносто пять.
— Уже наша?
— Тяжело далась.

Потом перед нами возникают два кургана. Ближний пониже. Дальний — высокий, тупоголовый, с крутыми склонами. Это и есть высота 95.4.

Взбегаем на нее и видим следы недавнего боя: в траншее лежат трупы гитлеровцев, по брустверу разбросаны немецкие винтовки, гранаты, противогазы «лошадиная морда», патроны. Чуть пониже — разбитый крупнокалиберный пулемет.

Впереди тихо. Выстрелов не слышно. Начинаем осваивать наш новый наблюдательный пункт. Бойцы вытаскивают из траншей трупы, относят их вниз, в кукурузу.

Черных присоединяет кабель к телефону, дает проверку, с батареи отвечают. Слышимость хорошая.

Связисты начинают тянуть «нитку» к дивизионному коммутатору в село Балки. Это близко.

Маликов устанавливает стереотрубу.

— Смотрите, старший лейтенант! Тут все как на ладошке. Диспозиция! Другого слова нет.

Да, такой удобной высоты мы еще никогда не встречали.

Отступая, гитлеровцы старались всегда закрепиться на местах возвышенных, мы оказывались в низинах. Атаковали снизу.

Когда мы стояли на Северском Донце, 312-й артполк занимал позиции перед Лисичанском. Потом его перебросили правее по фронту — к Красному Лиману, и мы два месяца сидели в болотах, кормили малярийных комаров и до глухоты в ушах глотали акрихин.

Наблюдательные пункты — только на деревьях. По деревьям мы научились лазить, как обезьяны. Особенно быстро натренировались слезать. При начале артобстрела. Здесь показывали рекорды.

И пили воду неопределенного цвета. Воду, пахнущую землей, кладбищем, тиной и головастиками. Такой коктейль.

Северский Донец мы форсировали у Славянска. И вот там на другом, высоком берегу я выпил глоток самой

вкусной в жизни воды. Глоток прозрачной холодной колодезной воды из стакана с запотевшими стенками.

Кто-то тут же хотел умыться, но солдаты, желтые от акрихина «болотные солдаты», сгрудившиеся с котелками у колодца, зашикали:

— Ты что? Грех такой водой умываться...

А малярия — память северскодонецких мест — нас трепала долго. Отстала только в Карпатах, как в горы пришли. Трепала по строгому расписанию, подекадно, зная, какие дни четные, какие нечетные.

Наклоняюсь к окулярам стереотрубы. Далеко-далеко белеет Никополь. На той стороне Днепра. На высоком берегу.

95.4 — высота, господствующая в этом районе. С нее открывается глазу приднепровский простор.

А вблизи перед нею — скат, и по этому скату наискось пролегла полезащитная полоса.

Любознательный Шатохин уже успел ознакомиться с окрестными предметами. Докладывает:

— Порядок. Есть где спать ночью.

Он побывал у скирды, что метрах в шестидесяти справа от высоты. Нашел под ней глубокие норы, вырытые немцами, окопы.

Притащил Шатохин и трофеи: два автомата и ранец, набитый патронами и гранатами.

— Опять ты барахло собираешь? — замечает Головкин.

— Барахло-барахло, — передразнивает Шатохин. — Все в дом, все пригодится. По́ки ты бездельничал, я уже осмотрел, что тут кругом. Еще спать ко мне постучишься.

Головкин говорит вместо «пока» — «по́ки». «По́ки я тут сидел...»

Мне надо посылать боевое донесение. В штабе уже ждут. Каждое утро ждут. Пишу на листке блокнота: «Боевое донесение 31 октября 1943 года... Передний край обороны противника проходит...» Черт возьми, а где же всетаки он проходит? Без этой фразы донесение не донесение. С нее начинается.

Линию передовой я чуть позже выясню. Но с донесением медлить нельзя.

Если бы находился сейчас на НП командир взвода управления, мне было бы легче: можно выбросить ПНП —

передовой наблюдательный пункт, послать лейтенанта вперед. Но он в госпитале. Нового не прислали.

Пошлю Лиманского и радиста. Но у меня только одна рация. Вторая — на огневой. Пусть с огневой и связываются. На огневую я позвоню, предупрежу. Каждые десять минут будут выходить в эфир.

— Лиманский, вам связаться с пехотой. Из радистов с вами пойдет...

— Зачем радист? Это дольше. А я быстро. Туда-сюда. Аллюр три креста.

— А лошадь где?

— Вон моя лошадь гуляет. Внизу, у посадки.

Маликов поворачивает стереотрубу в сторону посадки, замечает:

— Ты, Лиманский, кудесник. Сумел все-таки отыскать любимое домашнее животное. Только лошадь твоя на трех ногах. Подбитая.

За нашими спинами слышится шум мотора. К кургану подъезжает на виллисе полковник, командующий артиллерией корпуса. Человек он довольно грузный, но легко поднимается по склону, проходит траншеей.

Докладываю, что наблюдательный пункт девятой батареи 312-го армейского пушечно-артиллерийского полка...

— Вольно, вольно! — говорит он. Обводит биноклем горизонт, восхищается: — Ну и устроились вы здесь! Все насквозь просматривается. Но вам, батарейцы, долго тут не сидеть: начальство вытурит.

И вдруг слышим голос Маликова:

— Немцы!

Разведчик впился глазами в стереотрубу, повторяет:

— На нас идут немцы. Колонной.

— Где? Где? — спрашивает командующий.

— А вот как труба наведена, товарищ полковник. Двигаются в нашем направлении за посадкой. Отсюда метров семьсот.

— Да, какие-то люди, — неопределенно произносит полковник.— И их много, очень много... Но это наши. Немцев здесь быть не может. Пехота отсюда уже в трех километрах. Так мне доложили.

— Немцы, товарищ полковник. По шинелям вижу. Правда, посадка, конечно, мешает...

Полковник озадачен:

— Как так могло случиться? Наблюдайте, разведчик, наблюдайте.

Как могло случиться — это станет ясно только потом. Высота находилась на стыке двух частей; после взятия ее одна пошла правее, другая — левее. Не обеспечили взаимодействия флангов. Возник разрыв, клин. В этот клин и двинулся противник.

Маликов говорит еще более уверенно:

— Они. Точно.

— Почему точно? — спрашивает полковник.

— Обратите внимание: несколько человек отошли от колонны и развлекаются. Стреляют в подбитую лошадь. Наши над раненым животным издеваться не будут.

Довод Маликова сильный, убедительный.

Я сажусь к стереотрубе и вижу, как люди стреляют в лошадь. Лошадь падает.

Маликов прав. Шинели не наши. И ведут себя эти люди странно.

Подаю на батарею команду «К бою». Делаю расчеты на полукилометровый рубеж, и в этот момент на курган падают две мины.

Немцы контратакуют. У них два миномета. Вслед за разрывами мин один за другим раздаются выстрелы из противотанковых орудий. Снаряды чиркают по брустверу.

— Принимайте бой, — говорит мне полковник. — Высоту не сдавать! Пока жив хоть один из вас, она наша! Я буду на ветряке.

И снова на кургане рвутся мины. Но первое орудие «девятки» уже дало выстрел, и снаряд, низко просвистев над нашими головами, падает около посадки.

Чуть довернув орудия вправо и оттянув прицел на себя, даем залп батареей.

Разрывы ложатся точно. Вижу, как падают люди и взлетают корнями вверх кусты акаций. Но немцы не останавливаются. Они идут напролом.

Мина, разорвавшаяся на самом бруствере, разбивает стереотрубу. Труба падает в траншею.

Снова оттягиваю прицел и даю четыре снаряда беглого огня. Посадка окутывается плотным дымом. Когда ветер сносит дым, из-за кустарника снова бьет миномет. Один. Второй молчит. И оба противотанковых орудия молчат...

Разведчики и связисты, все, кроме одного, дежурящего у телефона, стреляют по наступающим из винтовок и автоматов.

Еще четыре снаряда беглого огня. Люди в мышиных шинелях падают, колонна редеет, но сзади подходит пополнение. И они идут, все равно идут, рассыпаются цепью.

Миномет переносит огонь за курган, и это внушает мне самую большую тревогу: они «щупают» нашу связь...

Я хорошо чувствую этот бой. Гитлеровцы допустили в нем ошибку. Поздно рассыпались. Это обошлось им дорого. Но их все равно много, не меньше двух полных рот. И теперь они ошибку исправляют, обходят высоту справа, залегают в окопы под скирдой. И, чтобы отсечь нас от батареи, кидают мины за курган. Какая-то из них может сделать роковое для нас дело — перебить провод.

— Кучер, рация развернута? Вызывайте дивизион!

Кучер показывает на рацию. В ней дыра от осколка. Эх, не уберегли!

Кричу телефонисту:

— Огонь!

И слышу то, что могло быть самым страшным:

— Алло, алло! — У Шатохина зрачки чуть ли не во все глаза: — ...Нет связи.

Немцы идут в завершающую атаку. Молча. Кричат разведчики и связисты «девятки»: «Лежать, гады!», «Чавела!», «В левый глаз его!», «Наша не пропадет, ребя!»

Кричат разное.

Бьет из карабина Головкин. Дает длинную очередь из автомата Лиманский. Целится из парабеллума Земцов. Одна за другой летят гранаты из рук Чернова. В бою участвуют все. Я тоже занимаю место у бруствера рядом с Маликовым и Лиманским. У меня пистолет «ТТ». Хороший, точный, безотказный.

А за отворотом шинели — немецкая граната с длинной деревянной ручкой. На конце ручки, на шпагате, — маленькое белое кольцо.

Поднимается ветер. Песок попадает в затворы наших автоматов, и они отказывают. Есть одно проверенное средство, но некогда.

Бойцы хватают те винтовки, что бросили немцы при отступлении, и припасы, принесенные из-под скирды Шатохиным.

И снова идет ожесточенная перестрелка. Слава богу, миномет молчит. Кончились, наверно, мины. А у нас патроны на исходе.

В какую-то минуту этого боя меня тянет за рукав Шатохин:

— Есть связь с дивизионом!

Он не бросил предательски молчавшие телефонные трубки, не сменил их в горячке боя на автомат. Ждал, ждал, ждал до последнего: а вдруг.

Я говорю «до последнего», потому что связь с дивизионом появилась в ту уходящую минуту, когда еще можно было что-то сделать. А как связь появилась, я даже не знаю. Ведь телефонисты, пошедшие разматывать катушки с кабелем в направлении штаба дивизиона, услышав выстрелы, вернулись с полдороги защищать НП... Может быть, с коммутатора дивизиона пошли им навстречу: затревожились?

Затревожились и потянули связь к нам на курган. И увидели в поле брошенные катушки с кабелем. И провод, идущий к высоте. Чьи катушки, они, конечно, сразу узнали: на каждой белилами написано «9».

Слышу голос Щербины — того самого, о котором я рассказывал, как о замечательном природном комике.

Я был к нему неравнодушен и, если приходил в штаб, обязательно заглядывал на коммутатор поболтать со Щербиной. А он не раз говорил мне:

— Товарыш старший лейтенант, та возьмите мэнэ у вашу батарэю. Що я як неприкаянный сидю при штабе? Хай тут яку дывчину посадют. Чэстно буду робыть.

Кричу:

— Щербина! Скорее, скорее командира дивизиона!

И тут же капитан на проводе. Спрашивает:

— Что у вас там происходит?

— Огонь на меня! На высоту девяносто пять и четыре! Дивизионом!

— Ты с ума сошел? Ты отвечаешь за свои слова?

— Решают секунды, капитан!

Бросаю трубку. Возвращаюсь к брустверу. Немцы уже у основания кургана. Падают, поднимаются, бегут и... и мы проваливаемся.

Короткий, прижимающий к земле многоголосый вой, и нас кидает, мнет, глушит.

Мы лежим на дне траншеи, нас засыпает песком с бруствера, песок скрипит на зубах, по спинам тяжело барабанят комья земли. И грудь разрывает от теплого, удушливого, едкого, острого дыма.

Курган буквально шатается.

На руке сыро. Чуть приподнимаю голову: кровь. Нет, не ранен. Это из носа и ушей.

Снаряды, тяжелые, как авиабомбы, рвутся на склонах.

При стрельбе без коррекции они не должны попасть в ту точку, по которой делался расчет. Но существует эллипс рассеивания. И огонь ведет не одно орудие, а шесть. Шесть эллипсов, один наложен на другой... В общем, густо.

Про эллипсы мы, конечно, не думали. В голове — торможение.

Не знаю, сколько времени бил по высоте дивизион — пятнадцать минут, двадцать или больше. Но вдруг нас снова оглушает. На этот раз — тишиной.

Поднимаюсь, держа в руке пистолет. Знаю: в нем один, последний, патрон. Где немцы? Вот они, рядом. До первого из траншеи можно достать рукой.

На склонах кургана, вокруг макушки, я насчитал потом тридцать девять трупов. Облепили высоту, как мухи.

А остальные бегут. И за ними самозванные преследователи: Шатохин, Черных, Лиманский. Кажется, Головкин. Бьют в спины из немецких автоматов. Кидают вдогонку гранаты.

Вот когда бросил Шатохин телефон. Не удержался... Трубка в руках у Сергеева.

— С кем есть связь?

Сам поражаюсь неуместности своего вопроса: какая может быть связь, когда вокруг места живого не осталось? Все вспахано, все выжжено.

— Великжанин побежал по линии.

Дымится трава на склонах. А над скирдой высоко вымахивает пламя. Ветер несет дым в сторону от кургана. Раздается несколько взрывов. Это рвутся боеприпасы, оставленные гитлеровцами в норах.

— Есть связь с батареей!

Готовлю расчеты, передаю на огневую. Теперь «девят-

ка», прибавляя прицел, посылает снаряды вдогонку бегущим.

Немцы бой проиграли. Все решил налет дивизионом на высоту. Не ожидали они такого маневра огнем. И не выдержали.

А у кургана снова останавливается виллис командующего. Полковник жмет мне руку, говорит:

— Спасибо! Я все видел от начала до конца. Потери есть? Раненые? Убитые?

Потерь нет. Мы одержали верх в этом поединке абсолютно без потерь.

Вот как бывает... То, что ни один свой снаряд нас не задел, — случайность. А то, что немцы никого не вывели из строя, можно объяснить: бойцы вели себя спокойно, не суетились, стреляли, прорыв в бруствере канавки-бойницы, гранаты кидали из глубины траншеи. Словом, никто не распустил нервы, и каждый нашел себя в этом бою.

Два противотанковых орудия и один миномет противника были разбиты первыми шквалами огня, и потом их остатки всю зиму валялись в кустарнике.

Полковник приказывает:

— Всех переписать. Всех представляю к награде! — И вдруг лицо его темнеет: — Старший лейтенант, что у вас делается? Почему вы не следите за бойцами? Как вы их воспитываете?

...Преследователи возвращаются, увешанные автоматами, пистолетами, флягами.

Что я могу сказать, вернее, не могу сказать? Батарею получил недавно, воспитанием было заниматься некогда. Постоянно то в бою, то на марше. Не было даже возможности выстроить всех вместе, чтобы лучше познакомиться.

Но, зная, что надо говорить, мямлю:

— Примем меры... Так что проведем беседы... Соберем...

Полковник досадливо машет рукой и, взяв список, уезжает.

Первым мне на глаза попадается Черных.

— Сержант Черных, почему вы оставили наблюдательный пункт? Вы командир отделения связи.

Молчит. Часто моргает грешными улыбающимися глазами.

— Он развивал местное тактическое наступление, — комментирует Маликов.

— Сержант Черных...

— Увлекся, — поясняет Черных, переминаясь с ноги на ногу. — Хотелось им еще малость добавить.

— Но вы понимаете, что это смешно: пять человек догоняют целую ораву?

— Но они же бегут. У них паника.

— Вы могли попасть под огонь своей батареи...

— Свои не страшны. Целый дивизион бил, и то не попали.

— Что у вас во флягах?

— Не пробовал. Должно быть, шнапс. Только с вашего разрешения. По случаю сегодняшнего дня.

— А вы, рядовой Шатохин?

— Я побежал обстановку уточнять, посмотреть, где они залягут.

— И где залегли?

— Понизу. У оврага.

— Что вы с собой притащили?

— Автоматы. Надо мною смеялись утром, когда я из-под скирды кое-что принес. А ведь пригодилось... А если они опять в атаку пойдут?

Я хорошо знаю Шатохина. Он человек неуемного любопытства. Иногда это любопытство выглядит как определенный порок. Других пороков он не имел. Не пил, не курил. И был очень добр. Если кто попросит, свое отдаст.

...Надо составлять боевое донесение. Теперь я знаю, где проходит передний край.

Но от писания меня освобождают. Из штаба дивизиона просят передать по телефону, каковы результаты боя, сколько израсходовано снарядов, сколько горючего в баках тракторов и прочее, прочее.

А потом меня один за другим зовут к трубке «мушкетеры» Исаков и Мамленов.

— Жив, «спец»? — гудит голос Мамленова. — Я так и знал. Таганские ребята — они крепкие. Их шапкой не сшибешь.

В пятой спецшколе учились те, кто жил окрест Таганки. Таганские ребята слыли драчунами.

...Во дворе нашего дома под навесом стояли лошади с торбами. Чуть в сторонке — тяжелые ломовые телеги. Оглобли вверх подняты.

Жеребята бегали. Ветер катал по земле клочки сена.

Владел всем этим хозяйством дед Ермак — былинный кудлатый богатырь. Огромная черная с проседью цыганская борода. Рубаха до колен. По массивному животу — тонкий кавказский ремень с металлическими украшениями — стрелочками, пряжечками. На ногах тяжелые гренадерские сапоги.

Жена Ермака, женщина маленькая, тщедушная, говорила про мужа:

— Как мой вымахал-то, а? Разорение сплошное. На одну рубаху сколько идет! И сапогов готовых для него не найдешь...

Обитало семейство Ермака — он, жена и двое сыновей, Петр и Иван, — в подвале флигеля.

Утром дед вылезал из подземелья, начальственно оглядывал двор из-под тяжелой ладони и кричал хрипло:

— Петь-кя! Вань-кя! Прягай лшадей!

Летом сыновья часто спали на сене под навесом. Не потому, что им так нравилось. Поздно с гулянья возвращались. Боялись выволочки от отца.

А ходили они на Таганку. Можно было по синякам догадаться. Принимали участие в лихих набегах таганских ребят на соседние пределы.

После того как лошади Петькой и Ванькой были запряжены, Ермак садился на первую телегу — кнут в руках, фуражка козырьком назад, — и гужевой отряд, гремя по камням стальными ободами колес, выезжал за ворота.

Позже Ермак перешел с жестких металлических ободов на мягкие, резиновые — «дутики». Но ездить по Москве на телеге оставалось недолго.

Ходили по нашей Воронцовской трамваи. С бойким шумом и звоном. Поднимали пыль на остановках: тормоз Вестингауза спускал воздух.

Иногда у дома останавливались длиннотелые линкольны и кургузые амовские грузовички. Дело по тем временам понятное: шина лопнула.

А символом транспорта оставалась все-таки телега.

Но уже рукой было подать и до зисовских трехтонок, и до метро, и до первых гудков электричек, и до большой волжской воды.

В начале тридцатых годов последний из могикан старой Москвы дед Ермак умер. Петька и Ванька ушли в армию. Таганские ребята уже не вели кулачные баталии, а слава драчунов за ними так и осталась.

...Звонили мне в тот день командиры батарей старшие лейтенанты Дегтянников и Полтавцев.

Это были мои новые, искренние и добрые товарищи.

Батареями командовали умело, стреляли метко, словно всю жизнь только этим и занимались.

Дегтянников — высокий голубоглазый блондин. Жизнелюб, щеголь и танцор. Танцевать было, конечно, негде и некогда. За исключением очень коротких остановок в городах. Но Дегтянников все же находил и место, и время.

Однажды я застал его увлеченным сольным танцем на крылечке штаба. Дожидался, когда его вызовут, и импровизировал, выделывая замысловатые па. Согнутые руки вперед выставил, обнимая воображаемую даму.

Полтавцев же к женщинам относился иронично-скептически.

— Письма тебе пишут? — спрашивал меня.

— Давно не получал.

— А от кого ждешь-то? От девчонки какой-нибудь? Ты девчатам не верь. Обманут. Послушай старика.

Стариком он не был: всего на четыре года старше меня. Просто хотел посолиднее выглядеть в глазах тех, кто моложе. И скепсис тоже для солидности — напускной.

Георгий Полтавцев считал себя моим наставником и никогда не упускал случая дать мне полезный совет. Многие его советы действительно были полезными, остальные — ради шутки.

Телефонный разговор он закончил словами:

— В следующий раз осмотрительней выбирай энпэ. Не заставляй ближних брать грех на душу.

Через несколько дней наша высота приняла вполне обжитой вид. Мы основательно оборудовали наблюдательный пункт, выстроили на склоне два надежных блиндажа. Сверху положили бревна в три наката, внутри блиндажи обили фанерой. Сколотили лавки, столы. Даже зеркало повесили.

Но... сбылось пророчество командующего артиллерией корпуса: «Вам, батарейцы, долго тут не сидеть: начальство вытурит».

И вытурило. Едва мы закончили строительство. На маленький пригорочек, в кукурузное поле.

А на высоте 95.4 расположились НП командира корпуса и командира нашего полка полковника Коханенко.

Приходил я на эту высоту, на наш курган, после этого только один раз — 26 декабря, когда полковник Коханенко вручал мне орден Красного Знамени.

После боя, о котором я рассказал, «девятка» участвовала в контрбатарейной борьбе, в артподготовках, переносила свой НП то вправо — к Благовещенке, то влево — к Белозерке. Поддерживала танковые атаки, местные тактические операции. И еще участвовала в одном бою, в котором не сделала... ни одного выстрела.

...Разведка донесла, что гитлеровцы хотят перейти в контрнаступление и готовят прорыв с никопольского плацдарма на юг, на Крым. В Каменке выгружены танки.

Мы уже не атаковали. Мы окапывались. В считанные сутки возникли два пояса противотанковых рвов и минные поля.

Все батареи и наблюдательные пункты были отведены за рвы. За линии рвов и минных полей оттянули пехоту. На передовой остались лишь заслоны. И чуть позади них на небольшом пригорке в лесопосадке было решено поставить «девятку».

— Ночью стройте окопы для людей и орудий. Перед рассветом занять позицию, — сказал мне начальник штаба. — Если немцы пойдут, ваша задача бить по танкам. Прямой наводкой. Много снарядов не берите... Короче, вы принимаете на себя удар на этом участке. Стреляя по вас, противник раскроет свои огневые средства. Отступать вам некуда. Сзади рвы и минные поля. После того как вы проведете орудия вперед, все проходы закрываются. Остается только одна засекреченная дорожка, по которой ночью вам будут приносить термос с кухни.

После короткой паузы начальник штаба добавил:

— Боевые донесения не присылать. Связь по рации. Берите с собой два орудийных расчета, разведчиков, радистов и четырех телефонистов для вашей внутренней связи.

Больше вам никто не нужен. И еще: все, кто пойдет на задание, пусть напишут письма домой. Письма будут отправлены в случае уничтожения батареи. Личные документы сдать в штаб.

Было короткое собрание, на котором после меня выступил секретарь партийной организации батареи командир первого орудия сержант Фатюшин, рыжеватый веснушчатый деревенский парень с хитроватым взглядом и хорошей хозяйской хваткой. А такая хватка очень нужна: тяжелое орудие — это хозяйство. И само оно непросто, требует ухода. И при нем много разного инструмента и оборудования. От приспособлений для чистки ствола, от лопат, ломов, кирок, топоров, маскировочных сетей, подкладок под колеса и до фонаря, который вывешивается ночью на точке наводки. Точка наводки обычно сзади.

Орудия «закапывают» в землю, роют погребки для хранения снарядов, оборудуют блиндажи для расчета, укрытия.

Характер работы требует от огневиков-орудийцев степенности. По сравнению с разведчиками и связистами, которые ведут кочевой образ жизни, это люди оседлые, обремененные тяжелым физическим трудом. Не всякий поднимет снаряд 152-миллиметровой гаубицы-пушки. А огневикам таких снарядов за время одного лишь боя приходится перекидать множество. И орудие надо разворачивать, а в нем семь с лишним тонн... И все руками. До кровяных мозолей.

Фатюшин — огневик бывалый, опытный. Награжден орденом Красной Звезды и знаком «Отличный артиллерист». Его уважают, слушают.

Я спросил, нет ли у бойцов просьб об освобождении от задания по болезни или другим обстоятельствам.

Было молчание, нарушенное в конце репликой командира второго орудия младшего сержанта Пономарева:

— Обстоятельства у всех одинаковые. А больных нет. Все едят нормально.

Писали письма, и начинались они одинаково: «Если вы получите это письмо...» Сдавали документы.

С наступлением сумерек рыли орудийные окопы, а затем зацепили пушки тракторами, на выхлопные трубы машин накинули ведра вверх дном, чтобы не вылетало

пламя. Привязали ведра проволокой: иначе будут бренчать. И — потихоньку вперед. Прошли по мостикам через противотанковые рвы. И каждый не без грусти подумал, что к утру этих мостиков уже не будет. С этого момента мы — на Малой земле.

Когда трактора подвозили орудия к позиции, в стороне для отвлечения была организована стрельба. Помогло и то, что в небе тарахтели наши ночные бомбардировщики. Летали низко, где-то невдалеке сыпали бомбы.

Трактора ушли в тыл. Они не нужны...

Работали до утра. Заботились о маскировке. А маскироваться было трудно. Лесозащитная полоса вся голая. 31 октября, когда гитлеровцы шли к нашему кургану по такой же полосе, на ней еще были листья.

Надо было хоть глину дерном прикрыть. И пересадить кусты. Посадку погуще сделать.

Я очень боялся, что нас заметят. И опасался за огневиков: как они будут вести себя? Не в бою, а до боя. Разведчики и связисты привыкли ползать на животе под носом у противника и быть незамеченными. А огневики чаще всего — на закрытых позициях, в нескольких километрах от передовой. Противник их не видит, так же как и они его.

На огневой свободно. Можно ходить, двигаться. А тут с рассвета до темна головы поднять нельзя. Нас не существует.

...Мой НП в сотне метров от орудий. Сбоку. Связь с огневой — по телефону.

Рассветает, и я вижу перед собой ровный скат к балке. По балке идет вымершая передовая, на которой за всю ночь не было ни единого выстрела.

За балкой — гряда высоких холмов. Противник смотрит на нас сверху.

Какое-то время стоит тишина. И вдруг ее опрокидывает рокот десятков танковых моторов. Такой гул из-за холмов, словно началось землетрясение.

— Приготовиться! Командирам орудий и разведчикам наблюдать!

Танки ревут пятнадцать минут... двадцать... полчаса... Потом моторы неожиданно умолкают.

«Значит, сегодня не пойдут».

Ночью вместе с солдатом, доставляющим нам термос, приходит замполит дивизиона. Для поднятия духа.

Интересуется настроением.

— Настроение хорошее, — говорю я.

— Беседы с личным составом проводили?

— Проводил.

— О чем?

— О маскировке. Забываются люди с непривычки: то шапка чья-то из окопа торчит, то котелок на бруствер поставят. За такие промахи можно дорого поплатиться...

— А о задачах, о задачах говорили?

— Задачи всем ясны.

А настроение у бойцов и сержантов было действительно хорошее. Они пришли сражаться, а не умирать. Уныния я не видел. К войне они привыкли.

Сидят батарейцы в блиндажах и окопах, рассказывают друг другу бесконечные истории из жизни на войне и из жизни «на гражданке».

А что касается ситуации, в которой мы находимся, то она конечно, своеобразна. Ожидание, неизвестность хуже боя.

Пойдут или не пойдут? Если пойдут, то как все сложится? А вдруг, что самое неприятное, глупое и обидное, обнаружат и разобьют до наступления? Очень уж неудобное для нас место этот почти голый холмик перед грядой больших высот. И разделать нас могут как бог черепаху. И мы будем беспомощны: деваться некуда, никто не поможет.

Нам страшна артиллерия, а не танки. Если танки пойдут, то мы им страшны. Можно из нашей засады сорвать первую танковую атаку. Командование получит выигрыш во времени.

Главное — не быть обнаруженными вплоть до последней минуты, до открытия огня. И поэтому — маскировка, предусмотрительность, осторожность. Мы живы и сильны тем, что «нас нет». И командир со своего НП больше наблюдает за собственной батареей, чем за противником. За противником ведут наблюдение разведчики. Журнал разведки почти пуст: ни на передовой, ни за ее линией никаких передвижений, звуков.

...После нескольких встреч с бойцами и сержантами замполит уходит.

А на рассвете снова ревут моторы. Так ревут, что пес-

чинки с потолка блиндажа сыпятся. Снова: «Приготовиться!» Первые снаряды лежат у орудий.

Гудят, гудят моторы. И затихают.

Еще день отсрочки.

Ночью опять приходит замполит. Приносит газеты. Рассказывает новости. А потом, после его ухода, перед батареей возникает автоматная перестрелка.

Впереди несут дозор и охрану разведчики. Вернувшись, один из них рассказывает, что слышали в темноте немецкую речь и дали несколько очередей из автоматов.

Утром, едва-едва стало светать, идем на место перестрелки. У маленького кустика — одного из наших ориентиров — лежит гитлеровец... Видимо, разведчик.

Третий день также начинается с гула моторов.

Восемь часов. Девять. Двенадцать. Очень медленно движется стрелка часов. Никогда у меня не было столько времени.

Тринадцать ноль-ноль...

Теперь скоро вечер. Так поздно не начинают.

Еще один день без выстрела. Но мы уже привыкли к своему осадному положению.

Свертывают бойцы цигарки, шутят:

— Черта с два они пойдут. Им домой надо.

А танки опять гудят...

Днем солдаты спали, ночью ходили вокруг орудий, улучшали маскировку. И делали гимнастику. Если ночью спать, а днем неподвижно сидеть в сырых блиндажах и окопах, руки-ноги затекут и спину сведет. Ждали темноты.

Холодные были ночи. Стояла поздняя, глубокая осень.

Отпустили солдаты бороды и усы. Не брились: воды для питья не хватало. Воду приносил все тот же кашевар с Большой земли. Поблизости от нас ни родника, ни ручья не нашлось.

На восьмую ночь наш кормилец вместе с гороховым пюре и водой принес записку от начальника штаба дивизиона: «Отбой. Снимайтесь. В 23.00 придут трактора».

«Девятка» снимала засаду опять по счастливой случайности под шум ночных бомбардировщиков.

Мы пробыли между небом и землей, между противником и своими семь дней и, слава богу, остались батареей-невидимкой. Если мы хоть чем-то обнаружили бы себя,

то-то было бы радости у гитлеровских артиллеристов и минометчиков.

Они, правда, обрадовались, но поздно. Утром учинили по нашему холмику артиллерийский налет. Когда мы уезжали, то маскировку повредили, и, кроме того, от орудий остались на земле глубокие колеи... А разведчики артиллерийские за колеями на дорогах и в полях следят, читают их, рассматривая в стереотрубы.

Прибыли мы па эту огневую в сухую погоду, уезжали в мокрую. Вот и остались колеи.

Засыпали снарядами гитлеровцы место нашей стоянки, но нас там уже не было.

В штабе я доложил, что мы благополучно вернулись. Писарь достал из железного ящика наши последние письма и выдавал их по одному, вычеркивая из списка фамилии получивших.

Выдавал, как мандаты на жизнь.

Только и думали мы в эти месяцы: «Когда же вперед? Когда возьмем Каменку?»

В начале февраля наша 3-я гвардейская армия, смяв сопротивление противника, покатилась вперед, вышла на приднепровскую равнину — Каменский Под.

Была фантастическая грязь. Вот уж развезло дороги!

...Развезло дороги,
И на Южном фронте оттепель опять.
...Славная Каховка, город Николаев!
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать!

А Каховка, кстати, от нас была недалеко, чуть южнее.

Один трактор пушку не тянул. Сцепляли поездом по три-четыре. Тащили орудия волоком — на станинах, на лафетах: колеса не вертелись, увязая в жирной, засасывающей жиже.

Первая деревня, в которую мы вступили, — Ново-Днепровка.

Дома разрушены. В уцелевших — немецкие нары в три этажа. На нарах солома.

Из подземелья, из бункеров вылезали жители. Угощали нас узваром — вишневым компотом. Кроме вишни сушеной, у них ни для гостей, ни для себя ничего не было.

Одна курица по деревне ходила. Белая курица. И обращала на себя внимание, потому что одна.

Нищетой и улыбками встретила нас Ново-Днепровка, нищетой и улыбками проводила.

Дальше — Днепровка. Эта большая деревня мне запомнилась тем, что здесь меня принимали в партию. На партбилете: «Время вступления... февраль 1944 года».

Февраль сорок четвертого. Ручьи, лужи, вода кругом. И радость, удалая радость!

На всех дорогах — брошенные немецкие автомашины, повозки, взорванные орудия.

В спешке отступления гитлеровские артиллеристы бросали в жерла заряженных пушек и гаубиц по нескольку горстей дорожной грязи и в последний раз дергали за шнуры затворов. Это был салют смерти.

Стволы раздувало, рвало на полосы, полосы выгибало в стороны. Венчиком. И эти развороченные артиллерийские стволы напоминали бутоны, выбросившие лепестки...

Стальные цветы на могилах фашистских надежд! Такая была весна зимой, зимняя весна!

А у Каменки части 266-й гвардейской дивизии генерал-майора Фомиченко уже форсировали Днепр. Первым переправился с группой бойцов командир батальона капитан Евгений Иванович Красуцкий.

Достигнув правого берега на лодках, эта дерзкая группа перебила охрану парома, а оставшихся в живых двух немцев-паромщиков заставила перевозить советские подразделения.

И вот что сообщалось в оперативной сводке Совинформбюро за 8 февраля 1944 года:

«Войска 4-го Украинского фронта, прорвав сильно укрепленную оборону немцев на их плацдарме южнее города Никополь, на левом берегу Днепра, за четыре дня наступательных боев нанесли тяжелое поражение семи пехотным дивизиям противника и вышли к реке Днепр на всем протяжении плацдарма. В результате этой операции наши войска полностью ликвидировали оперативно важный плацдарм немцев на левом берегу Днепра протяжением 120 километров по фронту и 35 километров в глубину. В ходе наступления наши войска овладели рай-

онными центрами Запорожской области городом Каменка, Большая Лепетиха и заняли более сорока других населенных пунктов... В этих боях нашими войсками уничтожено: танков — 53, орудий разного калибра — 217... автомашин 1277... Противник оставил на поле боя свыше 15 000 трупов солдат и офицеров... Нашими войсками захвачены следующие трофеи: танков — 24, орудий разного калибра — 392... автомашин — 1686... Взято в плен более 2000 немецких солдат и офицеров».

И далее в той же сводке:

«Захваченные в плен немецкие солдаты сообщают, что недавно во всех ротах был зачитан приказ Гитлера, в котором он требовал любой ценой удержать Никопольский плацдарм. В приказе говорилось, что выполнение этой задачи будет иметь большое влияние на исход боев на других участках восточного фронта. Не случайно немцы построили в этом районе сильные укрепления. Оборонительный рубеж имел три ряда траншей и окопов, опоясанных проволочными заграждениями и минными полями. Особенно сильно были укреплены высоты и населенные пункты в районах, примыкающих к переправам через Днепр.

Наши войска в ходе наступления прорвали оборону немцев, расчленили вражеские войска на части и в ожесточенных боях разгромили семь пехотных дивизий противника. Большая группа немцев была загнана в Днепровские плавни и полностью уничтожена. Разбитые части противника устремились к переправам в район Малой Лепетихи и Большой Лепетихи. На переправах немцы были накрыты огнем нашей артиллерии и минометов. Советские летчики непрерывно бомбили и обстреливали из пулеметов гитлеровцев, пытавшихся перебраться на правый берег Днепра. Тысячи немецких солдат и офицеров утонули в реке...»

Финал трагедии фашистских оккупантов на Днепре. Батальоны утопленников.

На каменской земле мы оставались с месяц.

А зима на нее все же пришла. В марте. Закружила-завертела метелями. Сковала дороги морозом. Едет трактор — гусеницы звенят. Далеко слышно.

И в один из вьюжных морозных дней полк выстроился

на шоссе и двинулся на Васильевку, к железной дороге. Мимо сел, на которые мы так долго смотрели в стереотрубы, где искали и громили вражеские батареи. Мимо сел, сами названия которых нам казались зловещими и таинственными: Водяное, Ново-Водяное.

Путь был долгий, и весь этот путь меня трепала малярия. Сидел рядом с трактористом. Стучал зубами. Трактор без кабины. Открытый, если так можно говорить о тракторах.

В Балках сделали остановку на ночь.

Помню полутемную избу, на стене — керосиновую лампу с монотонно жужжавшим огоньком, деревянную скамейку, на которой я лежал, и помню, что приходила ко мне Любка. Принесла акрихин. Смерила температуру — ахнула.

— Сколько?

— Сами знаете.

— Под сорок?

— Угу.

Утром колонна продолжала путь.

Так я простился с землей, о которой наши солдаты говорили: «Она теперь мне как родная. Я ее от Благовещенки до Большой Белозерки двадцать раз на брюхе прополз».

Простился с землей, на которой осталось много могил с красными звездочками.

Начиналась она для нас с села Балки. Балками кончилась.

Вспомнил, как поднимали мы здесь стаканы за скорое взятие Каменки... 30 октября. И может быть, в этом самом доме. Хозяйка похожа. Вроде не обознался. Но видел ее мельком. В комнату, где я лежал, не заглядывала. Не хотела беспокоить.

В жар и холод бросало не одного меня.

Две трети дивизиона — малярики. Был случай: дали команду к маршу, а трактора заводить некому — все трактористы лежат.

Грузились мы на станции Таврическ, закатывали пушки на платформы.

А на фронт попали за Луцком.

Тут было тихо.

Только однажды «девятка» поработала — разбила вражеский бронепоезд. Бронепоезд подходил почти к самой

передовой, производил артналеты и исчезал. Местность позволяла ему подкрадываться незамеченным.

Кроме бронепоезда, огня со стороны противника никто не вел.

Да его почти и не было — противника. Гитлеровцы хотели заманить здесь наши части в мешок. Поставили справа и слева, на флангах, крупные силы, а перед нами — почти никого. Небольшие кочующие заслоны.

Наступление советских войск только недавно окончилось. Тылы растянулись. Надо было готовиться к новому рывку на запад. Лезть в мешок смысла не имело.

И потому нейтральная полоса занимала несколько километров.

...Мне приказывают пристрелять репер.

Спрашиваю:

— Где? Укажите.

Указать трудно: в нейтральной полосе и на линии немецкой передовой крестьяне пашут землю.

— Пошли разведчиков. Пусть предупредят, что стрелять будем...

Имели, видимо, гитлеровцы здесь и другой замысел: притупить нашу бдительность. Иначе зачем понадобились бы им новые фокусы с белыми простынями? И к чему было оставлять в нейтральной полосе записку для наших разведчиков: если, мол, вы пообещаете не трогать нас на пасху, то мы не тронем вас на Первое мая, пейте сколько угодно.

Вторая записка, также оставленная на видном месте, касалась «заботы» о местных жителях: не пора ли разрешить крестьянам ходить по пропускам в гости к родственникам с одной стороны на другую?..

В сорок первом и сорок втором они таких гуманных вещей не предлагали. А теперь самое время для обмена родственниками. Пока не собрали новые силы битые гитлеровские дивизии. Пока не уничтожены все узники фашистских застенков. Пока инженеры рейха не создали «сверхоружия».

Ответ был такой: «Ждите нас в гости в Берлине! Не возражаем, чтобы вы в качестве военнопленных увидались со своими родственниками в наших лагерях».

И скоро многие увидались.

А пока стояла оборона и шагала по земле весна. Сзади нашего НП — белая кипень садов села Ческе Красув. Оглянуться нельзя. Слепит.

Солнце яркое и воздух прозрачный. Как профильтрованный.

Редко такое на фронте бывает.

Люди всегда весне радуются. На войне особенно. Позади остаются зимние тяготы, холода. Поднимается настроение: «А жизнь, черт возьми, все-таки прекрасна!» Вспоминает солдат свой дом и другие, ушедшие, счастливые весны.

Все они были, конечно, исключительно хорошими.

Я тоже вспоминал. И тогда перед моими глазами возникали старые тополя в нашем дворе. Возникала Краснохолмская набережная — чистая, умытая апрельскими дождями. По этой набережной мы маршировали, готовясь к майским парадам.

Шагаем час, шагаем два, затем следует команда: «Разойдись!» Хватаем свои сумки и идем к пристани, к дебаркадеру.

У дебаркадера «спецы» заранее назначали свидания девчатам. А потом — по Москве-реке на катерах на Воробьевку.

И еще я вспоминал весну сибирскую, сибирский ледоход. Сколько раз в Москве я видел ледоход с мостов и набережных. Плывут грязные льдины — и все. Нет, ничего я не видел тогда и ничто меня не удивило.

Но вот оказался на берегу Ишима и навсегда запомнил ледоход.

Бушует неоглядный разлив, река крутит воронки и неожиданно, с ходу выбрасывает на песок льдину. Солнце греет ее, она светлеет, искрится, становится стеклянно-прозрачной, и вдруг — музыка: лед начинает звенеть. Слышится тонкое, хрустальное: динь-динь-динь...

Динь-динь-динь... Это льдина распадается на кристаллы. Кристаллы крупные, длинные, и все такой точной, правильной формы, словно их изготовил многоопытный мастер-гранильщик. Вот такой удивительный ледоход! И потом всякий раз, как вскрывалась река, любая река, где бы я ни находился, всякий раз, как льдины отправлялись в путь, мне чудилось на берегу волшебное: динь-динь-динь...

Ничего нет более яркого и вечного, чем первое впечатление. Оно — на всю жизнь. В литературе по традиции

принято описывать первую любовь. А первая радость, первое огорчение, первое открытие, первое разочарование, первая обида, первая боль, первый успех, первая разлука, первая неудача, первая встреча с прекрасным? А первый человек, которому так хотелось подражать, первый кумир, наставник? А первый дом? Первая улица?

Первое-первое — это тот порт, та бухта, к которым навсегда приписана душа человека. Отсюда он уходит в плавание, в океан, но сюда всегда мысленно возвращается, Нет для него другой бухты!

Первая улица.

Воронцовская начинается у Таганки и упирается в Крестьянскую заставу.

В моем раннем детстве она была провинцией: за кольцом «Б». Здесь даже цыганам с медведем гастролировать разрешали.

Улица не бойкая.

Идет по ней доктор Розанов. Бородка клинышком, очки в массивной роговой оправе, шляпа, в одной руке — неизменный кожаный саквояж, в другой — зонт или трость. Все ему кланяются.

Тогда врачам кланялись.

Розанов лечил детей и был на улице «скорой помощью». Заболел однажды мой старший брат Леонид — Розанов прибежал в два часа ночи.

Я не спал. У меня к доктору Розанову был неотложный вопрос: можно ли мне, как другим ребятам, лазить по крышам? Мама сказала: доктор запретил. Надо было удостовериться, правда ли.

Розанов подтвердил, что мама была права.

— У тебя голова закружится, и ты упадешь. Придется мне тогда делать тебе операцию. А вот подрастешь, станешь взрослым, и мы вместе с тобой полезем на крышу.

Когда я стал взрослым, то действительно полез на крышу — сбрасывать немецкие «зажигалки». Не одну ночь за этим занятием провел. Но без доктора Розанова.

Много лет прошло, как я в последний раз видел его, а свет от этого человека идет ко мне и сейчас.

Лечил он и лекарствами, и шуткой, умел делать «небо́льные» уколы и иногда не отказывался от приглашения, если ему кричали во дворе или на улице: «Доктор, доктор, идите с нами играть в снежки!»

Поставит на землю саквояж, положит на него трость — и два-три снежка кинет. Поэтому его слова «вместе полезем на крышу» я принимал всерьез. Очень мне хотелось забраться на дом или на сарай. Ребята говорили: с крыши видно такое, что с земли не разглядишь.

...Вечером улица быстро пустела. Только кое-где у ворот маленькими группками стояли парни.

От редких прохожих — длинные тени: фонари висели невысоко.

Невысокой была и Москва. Пожарные оглядывали ее с каланчи.

Пожарная часть находилась рядом, в Больших Каменщиках, и мы неизменно присутствовали на учениях этой части. Стояли, задрав головы, наблюдали, как пожарные лезут по лестнице в поднебесье.

Ниже Каменщиков — деревянные домишки с башнями голубятен. Сирень во дворах цветет.

За домами — крутой, обрывистый берег Москвы-реки. Лютики, бурьян, лопухи.

У берега на канатах — баржа-портомойка. Идут женщины с корзинами полоскать белье.

Шлепает плицами по воде колесный пароходик. Когда такие пароходики проходили под Краснохолмским или Новоспасским мостами, мне казалось, что они вот-вот заденут за них трубой. Мосты были низкие.

У Краснохолмского — вечная пробка: движение в одну сторону. Пока машины и телеги едут с одного берега, на другом ждут.

В воздухе над рекой — сиплый, глухой гудок. Говорили о гудке еще по-старому: «Гудит Циндель». А у Рогожской говорили: «Гудит Гужон».

На Воронцовской ничего не гудело. Тут было небольшое краснокирпичное здание, и вокруг него — металлическая изгородь с вензелями «АК». Александр Катык тихо делал папиросные гильзы.

А потом здесь начали строить часовой завод. Рядом с нашим домом вырос семиэтажный дом. А потом — и фонари стали выше, и мосты поднялись, и набережная изменилась, и домики с голубятнями исчезли — на их месте

построили новые, большие. Неизменной осталась только пожарная часть, но на каланчу бдительные борцы с огнем не поднимались: с каланчи уже ничего не было видно.

Первая встреча с удивительным.

Она произошла в нашем доме. Мы жили на втором этаже, а под нами была музыкальная мастерская одинокого нестарого человека, которого все звали по имени — Тимошей.

Я был у него добровольным нештатным помощником. Мама сшила мне фартук, и я часами сидел в его тесной мастерской, где стены были увешаны гитарами, балалайками, мандолинами. На деревянных полках стояли гармонии, баяны. На отдельной маленькой полочке — губные гармошки.

Принесли ему как-то в ремонт огромную, в два раза больше меня, скрипку. Тимоша сказал, что это контрабас.

Что такое скрипка, я уже знал. Скрипка тоже висела в его мастерской. Но не чужая, отданная ему в ремонт, а его собственная. Он играл на ней вечером, когда было настроение. Единственным его слушателем был я.

Тихо и тонко поет скрипка. Голос совсем как женский или детский.

Как не боготворить мне было этого человека, если он умел играть на стольких инструментах! Разбирал их, собирал, склеивал. Все музыканты с ближайших улиц шли к нему за помощью, и он умел то, что не умели другие.

От него я узнал, что гармонии не все одинаковые. Есть гармонии-хромки и гармонии-венки. Флейта называется свистящим духовым инструментом, а кларнет — язычковым. На изготовление и ремонт инструментов идет дерево разных пород: клен, орех, ель. Ель не простая, а резонанс-на-я. И еще: скрипка — царица музыки. Скрипичные смычки делаются из конского волоса, а струны — из кишок ягнят. А секрет лака, которым давным-давно покрывали скрипки кремонские мастера, утерян. И от этого скрипки стали хуже.

Очень красиво: резонансная ель! А «хромка», «венка» и «свистящий инструмент» — смешно.

Я не видел, чтобы Тимоша смеялся. Был он, как мне казалось, грустным. Улыбался только иногда — если оставался доволен законченной работой.

Утром я ждал его у мастерской. Он приходил, здоровался, снимал замок и говорил одно и то же, немного нараспев и тихо, словно сам себе:

— Сейчас клей варить будем и — работать, работать, работать...

Я трудился, конечно, весьма относительно. Таскал воду с колонки в ведерочке, наливал керосин в старенькую «грец» или примус, ходил за спичками и газетами, вытирал пыль с инструментов. Иногда делал более существенное — размешивал клей. А больше смотрел и слушал.

В мастерской тишина. Лишь трепещет пламя в керосинке. И вдруг рождается звук.

Тимоша хмурится, недоволен:

— Фальшивит.

Потом снова и снова:

— Фальшивит... Фальшивит... Фальшивит...

И, наконец:

— Теперь так, как надо!

Улыбается. Я тоже доволен: «Еще одну штуку сделали».

Тимоша почти не отдыхал. Уходил весь в свою таинственную, непостижимую для других работу, даже не сразу откликался, если к нему обращались пришедшие в мастерскую люди.

И я решительно обо всем забывал. Весь мир был в этой маленькой музыкальной мастерской.

И очень хотелось мне, чтобы Тимоша раскрыл утерянный людьми секрет кремонского лака.

«Клей варить будем и — работать, работать, работать...» — слова мастера, который видел в своем деле все: и смысл жизни, и удовольствие, и исцеление от недугов и забот.

Первый товарищ.

Во дворе нашего дома во флигеле жил домоуправ Силак, австриец по национальности. У него была жена Станиславна, которую, за то что она очень часто и невнятно говорила, прозвали Балалайкой, и сын Генька, мой ровесник. Все остальные ребята во дворе были старше нас. Так

что мы с Генькой держались ближе друг к другу. По-братски обменивались прихваченными из дома бутербродами и личным оружием — самодельными пистолетами. Зимой — коньками.

В войну в нашем дворе играли дом на дом. Мы с Генькой оказывались всегда в противостоящих лагерях. Однажды я брал Геньку в плен, и мне было его очень жалко.

В середине тридцатых годов Силак сложил с себя обязанности домоуправа и уехал с семьей в Австрию.

Мне без Геньки стало одиноко.

На фронте как-то услышал: «Вон стоит партия пленных. Все австрийцы».

Пошел посмотреть: «А вдруг увижу Геньку?» Дальше мысль работала так: «Неужели мой Генька может оказаться среди этих бандитов? Нет, нет. Мой Генька навсегда останется московским мальчишкой, который на Первое мая ходил с красным флажком и пел своим тоненьким голоском:

Заводы, вставайте! Шеренги смыкайте!
На битву шагайте, шагайте, шагайте!»

Первая любовь.

Она жила не на нашей улице, а в Дубровском поселке. За несколько трамвайных остановок. И училась в другой школе.

Была на класс старше меня. Уже вступила в комсомол, но носила красный галстук: пионервожатая.

Я благодарил и проклинал тот день, когда мы познакомились. Благодарил за то, что узнал: она есть на свете. Проклинал за то, что у меня была припухшая щека: болел зуб. Самое неподходящее время и состояние для первой встречи.

Ах, эта припухшая щека! Может быть, именно из-за нее я произвел не то впечатление, какое хотел.

Потом я без конца звонил ей домой по телефону. «Ее нет», «Она еще не пришла», «Она у подруги», «Скоро будет».

Но в конце концов я дозванивался, и тогда мы подолгу говорили, до тех пор, пока у телефонной будки не начинал выстраиваться хвост и мне не стучали в стекло.

Тогда я вешал трубку и бежал к другому автомату.

А потом понуро плелся домой: встретиться со мной

она не хотела: «Занята», «Репетиция самодеятельности», «Пионерский сбор». Почему-то всегда, когда я звонил, были репетиции и сборы.

Однажды, полностью отчаявшись, я написал ей письмо, большое письмо, занявшее чуть ли не целую тетрадку, и решил отнести его сам. Опустить в ящик на двери.

На лестнице было темно, почтовый ящик я нащупал с трудом, и в тот момент, когда я опускал письмо, она открыла дверь. Услышала, как я шуршал.

Удивилась, конечно, растерялась немного, но сказала: «Входи, входи. Снимай пальто».

Входить было страшно, снимать пальто еще страшнее: я был одет не для визита. Сидел дома в куртке, в которой обычно ходил в сарай за дровами. На куртку надел пальто и пошел опускать письмо. Возможности неожиданной встречи не предусмотрел.

Мою исповедь она прочитала тут же. Что сказала, не помню. Но была ко мне подчеркнуто внимательна. Как к больному. А разговаривала, как старший с младшим, снисходительно. И это меня бесило. Я чувствовал ее силу и свою слабость. И, досадуя на себя, влюблялся еще больше.

Потом я снова звонил ей из автоматов. И носил в кармане ее фотокарточку.

...Год спустя после войны я лежал в Москве в военном госпитале: открылись фронтовые раны, была операция.

Она узнала об этом от подруг и пришла навестить меня. Нежданно-негаданно. И я снова волновался, как тогда мальчишкой. И опять забыл от волнения, о чем же мы говорили. Пришла на час, подняла бурю и ушла.

Я был в гипсе.

Так никогда и не предстал перед ней в нормальном человеческом виде.

Три встречи... Такой короткий рассказ о любви. Без продолжения.

Первая тревога.

...В середине июня сорок первого в спецшколах окончился учебный год и учащиеся после нескольких дней отдыха отправились в военные лагеря.

На этот раз не железной дорогой — водой.

Большой белоснежный пароход «Менжинский» ждал нас в Южном порту.

У трапа играл духовой оркестр и было очень торжественно.

Расцеловавшись с провожающими — с родителями, с товарищами, с горячо обожаемыми девушками, «спецы» поднимались на палубу.

Как потом оказалось, это было для нас прощание с мирным берегом, с берегом мирной жизни, ибо после плавания по Москве-реке и Оке пароход пристал к берегу, с которого послышались частые, беспокойные сигналы трубы. Горнист играл тревогу. Тревога оказалась не учебной, как бывало раньше, а боевой.

Мы сбежали по трапу, промчались дебаркадером и выстроились на прибрежной поляне. Нам объявили: «Война».

А с пароходом «Менжинский» мы встретились через сорок пять дней. Он приплыл за нами закопченный, с выбитыми стеклами: «Менжинский» побывал под бомбежкой. И Москва была уже другая — военная. С окнами, заклеенными полосками бумаги, закамуфлированная и с «колбасами» аэростатов в неспокойном и ненадежном небе.

В школе мы приступили к занятиям, но скоро их отменили: «спецы» направлялись на строительство оборонительных сооружений.

Много времени прошло с тех пор, много в жизни было тревог. Стучала кровь в висках, и мозг не раз сверлил беспокойный вопрос: «Что же дальше?» Тревоги приходили и уходили. Часто и не запоминались. А та, первая, осталась в памяти навсегда.

Трубил горнист на берегу Оки...

Та тревога сделала нас сразу старше. Та тревога родила тысячи других тревог. Она изменила жизни и судьбы. Каждый по своему встретил страшную весть 22 июня. А солнце померкло для всех. Когда опять засверкает оно так нежно и ласково, как в начале лета сорок первого? Когда же конец тревогам? Да, «покой нам только снится», покой, прерванный навсегда сигналами трубы.

Вспоминается и хорошее, и плохое. Больше — хорошее.

Первое торжество, на котором я был, — ноябрьский парад 1933 года на Красной площади. Первый командир, которого я полюбил на всю жизнь, — строгий и справедливый, умный и добрый старший политрук Сергей Алексан-

дрович Поляков. Первая большая радость — окончание спецшколы. «Спецам» перед строем зачитали приказ о выпуске, потом они, радостные, возбужденные, жгли под обрывом на берегу Ишима надоевшие им тетради, оставив для себя только те, на которых было написано «Артиллерия».

И первое чувство своей полезности, необходимости, когда человек сам поднимается в своих глазах, начинает чувствовать крепкую почву под ногами, ощущать свое достоинство. Это чувство пришло, когда я сделал самостоятельный выстрел по врагу. На него благословил меня капитан Красель.

Я готовил расчеты, в которые он не вмешивался, передал данные стрельбы на батарею, скомандовал: «Огонь!», с батареи доложили: «Выстрел!» И у меня остановилось сердце: как упадет снаряд?

Он тяжело прошуршал в воздухе над головой, и вслед за этим рядом с высоткой, на которой находился НП противника, вырос огромный серо-коричневый куст разрыва.

Для этого я жил и учился.

О разном думает фронтовик в обороне, многое вспоминает. Но вот звучит голос по телефону: «Явиться в штаб». В штабе говорят: «Есть новое дело». Ставят задачу. На этот раз офицерам 146-й артбригады — мы уже стали артбригадой — было сказано:

— Ночью снимаемся с позиций. Марш на Луцк. Грузимся на платформы. Едем на другой фронт.

В Прикарпатье лето было горячее, душное. Жгло солнце. И не успевали остывать стволы орудий: не прекращались бои. Мы наступали.

30 июля взяли город Долина.

Он был уже целиком наш, но фронт шел уступом. Гитлеровцы ударили с правого фланга — у основания уступа — мотопехотой. В течение двух часов они почти совсем отрезали Долину, и с ее дальних окраин по единственной открытой дороге начали уходить наши части, в основном артиллерийские. Они стояли на прямой наводке и ожидали атаки в лоб. А удар был нанесен сзади, сбоку, и бой шел у них в тылу, за гребнем холма.

А в самом городе была только одна зенитная батарея. Расчеты орудий состояли из девушек. Девичья батарея

и приняла на себя основной удар. Часто-часто били их пушки: тах-тах-тах-тах. Батарея билась до последнего снаряда, подожгла несколько бронетранспортеров и была уничтожена. Говорили, что ни одна из девчат не попала в руки к немцам живой. Была и другая версия: раненых фашисты повесили на деревьях. О девчатах ходили легенды.

В это утро я вместе с разведчиком Маликовым и радистом Кучером был на НП на самом дне мешка, в котором оказался город.

За нашим домиком — ровное кукурузное поле. По этому полю и проходил передний край обороны.

Здесь было тихо. Передовая словно вымерла.

Шум боя мы услышали за своими спинами, и он постепенно перемещался левее, левее...

Боя мы не видели, но, что происходило, понимали.

На краю кукурузного поля вблизи нашего домика стояли батареи истребительно-противотанкового полка. Иптаповцы взяли орудия на крюки и уехали. Ушли и две батареи сорокапяток. Виллисы включили третью скорость.

Все ушли... Я связался по радио с командиром дивизиона капитаном Кальным. Он ответил, что приказа об отходе нет. Предложил выйти в эфир через десять минут.

Через десять: «Выясняю. Сидите». Еще через десять: «Ждите. Указания будут».

Тишина стала совсем зловещей. Надо было ожидать атаки в лоб, но отражать ее было некому.

В то время как мы с Кучером снова ожидали по радио голоса дивизиона, Маликов наблюдал с чердака.

Кучер передал мне трубку, и я услышал:

— Снимайтесь немедленно!

И в тот же момент с чердака буквально свалился Маликов:

— Немцы идут к нам! В дверь выходить нельзя. Прыгаем в окна!

Мы выпрыгнули в окна, перебежали дорогу и оказались в глубокой канаве, края которой густо поросли кустарником. Вслед нам прозвучало несколько автоматных очередей. Гитлеровцы стреляли из тех окон, из которых мы только что выпрыгнули.

Потом время словно бы остановилось. Мы долго ползли по канаве, распугивая лягушек. Над нашими головами прошел по дороге немецкий бронетранспортер.

За городом дорога поднималась вверх, и мы достигли перевала.

Там стоял одинокий беленький домик, рядом с ним виднелись окопы. Заняли один из них.

В соседнем находились два незнакомых нам артиллерийских офицера — полковник и майор.

До меня донесся беспокойный голос полковника:

— Где же они? По часам они уже должны были пройти эту высоту...

Потом я понял: «они» — это автомашины с пушками. Отходил еще один истребительно-противотанковый полк, на этот раз с левого фланга.

Полковник развернул на бруствере окопа карту, сказал майору:

— Мы сосредоточиваемся вот в этом месте.

Внизу на дороге показались доджи с пушками.

— Наконец-то! — вырвалось как вздох у майора.

Машины быстро приближались, взлетали на перевал и исчезали сзади нас в лесу. Полковник считал:

— Двадцать первая... двадцать вторая... тридцать четвертая... тридцать пятая... тридцать пятая...

Не было последней.

— Где же тридцать шестая? Что с ней? — волновался полковник.

В это время с немецкой стороны зарыдали шестиствольные минометы, и на перевал обрушился шквал огня. Налет был массированным, сосредоточенным.

Когда он окончился, вокруг нашего окопа горели кустики, тлела трава, белого домика как не бывало.

И вдруг я увидел: мертвый полковник с размозженной головой откинулся к стенке окопа и руки его все еще держат залитую кровью карту.

В нерассеявшемся дыму разрывов через перевал проскочила отставшая тридцать шестая пушка.

Место расположения шестиствольных минометов мы определили и снова ждали, когда в эфир выйдет дивизион.

А на следующий день опять разгорелся бой, и по холмам ползли длинные тени от дымов.

Я принимал распоряжения из штаба. В конце мне сказали:

— Поздравь при случае Мамленова. Его представили к майору.

Через бригадный коммутатор я с ним связаться не смог: порыв на линии связи с первым дивизионом. А когда связь восстановилась, я узнал, что Мамленова больше не увижу: разрыв снаряда на НП.

Его сразило в момент, когда он руководил огнем своего дивизиона, поддерживая наступление пехоты.

...Похоронили Сашу Мамленова 31 июля 1944 года там, в Долинском районе, в ограде церкви села Струтынь-Выжны.

Так окончил свой боевой путь смелый, умный и веселый человек, «спец» с Восточной улицы. Он шел по жизни впереди меня. Познакомившись, я спрашивал у него: «Как у вас в спецшколе?» Позже: «Как у вас на фронте?» Он командовал батареей, потом батарею дали мне. Я во всем хотел походить на него. И вот его нет.

За эту смерть, за гибель девушек-зенитчиц, за сотни жизней, оборвавшихся здесь, на этих зеленых холмах, врага настигло возмездие через несколько дней.

...Километров двадцать мы двигаемся по лесной дороге через кладбище. По канавам, на опушках и полянах — трупы гитлеровцев, убитые лошади. Вздувшиеся и уже лопнувшие. Тысячи разбитых и перевернутых повозок, орудий, остовы сгоревших автомашин, уткнувшиеся в землю пушками «тигры» и «пантеры».

В нескольких местах лес «выбрит» гигантскими взрывами складов боеприпасов.

Кричат раненые. Те из них, кто может хоть как-то двигаться, ковыляют нам навстречу. Спрашивают по-русски: «Где плен?»

Потом попадаются остатки дивизии с генералом во главе.

Едут мимо наши. Балагурят:

— Ну, прикурили?! Война кончилась?

Пленные останавливаются. «Гитлер капут!» Это солдаты. Офицеры смотрят в землю.

Горит лес, горят дома крохотных деревенек. Тяжелый горько-сладкий смрадный дух вызывает тошноту даже у бывалых фронтовиков.

Когда же кончится эта дорога? Мы едем по ней уже не первый час.

К вечеру небо расчерчивают зигзаги молний. Начинается гроза. И так кругом все горячо, что дождевая вода превращается в пар.

Трактористы включают фары, и их свет выхватывает из дыма и тумана новые вереницы пленных и силуэты сброшенных в кюветы танков.

Выроавшись на свежий воздух, мы день или два после этого не курили...

Марши, переходы были длинные, большие. Остановки короткие. Едва стали — роем окопы. Только успели «закопать» пушки — команда: «Моторы!»

Всем доставалось, но больше других — нашим трактористам.

На марше огневик или управленец залезет на прицеп, поспит. Или на пушке подремлет. Трактористу нельзя: он ведет трактор. В обороне батарея стреляет не часто, и орудийцу-пушкарю есть время перевести дух. У тракториста времени нет: он ремонтирует трактор.

Шесть тракторов в батарее. Девять чумазых водителей. Все бывшие эмтээсовские. И командир отделения тяги сержант Бормотов тоже работал до войны в МТС.

У Бормотова всегда озабоченное, усталое лицо. И глаза, молящие о запасных частях.

Но их почти не дают. А тракторы идут от самого Дона.

На колхозной Украине водителям наших тягачей было легче. Едва останавливались в селе или на хуторе, Бормотов сразу интересовался у местных жителей, где тут была МТС, и шел с товарищами «кулачить» заброшенные машины.

А тут и «кулачить» нечего. Гайки и те других стандартов.

Всегда вежливый, тихий, приходит ко мне командир отделения тяги.

— Я доложить... Тракторы дальше идти не могут... Поглядите, траки летят... Звездочки надо менять. Подшипники перетягивать... И вообще...

— Что вообще?

— Я же давал вам список деталей первой необходимости. Зарез полный!

Да, список он мне давал, и я писал рапорт. Снабженцы разводят руками. Сверху говорят: «Обходитесь своими силами».

Теперь уже я спрашиваю:

— Что будем делать-то, Бормотов? А?

— Что скажете...

— Что скажу? Другие батареи как-то обходятся, и вы, думаю, выход найдете.

Сержант нерешительно мнет в руках промасленную шапку, потом говорит:

— Ну, ладно. Ну, раз надо. Ночку поработаем — посмотрим.

Ночью трактористы возятся у своих уставших машин при свете фар. Или зажигают паклю.

Стучат, сваривают, ставят на тракторы самоделки, а утром ко мне снова приходит Бормотов.

Спрашиваю:

— Как дела?

— Дела? Да километров сто еще протянем. Сейчас ребята отдохнуть часок хотят.

А отдыхать не придется: снова приказ о марше.

Не спали как-то пять или шесть ночей подряд. То шли вперед, то нас перебрасывали с одного участка фронта на другой.

Остановились под вечер в небольшой деревушке. Надеялись на передышку. И только отцепили пушки от тракторов — «Заводи!»

«Девятка» шла в колонне бригады головной. Я сидел на первом тракторе рядом с водителем.

Идущий головным прокладывает маршрут. В руках у меня была карта. Светил на нее электрическим фонариком. Сверял с картой развилки дорог, перекрестки. Уточнял путь.

Сколько карт я уже перевидел и проехал! Получал в штабе под расписку, под расписку сдавал, когда лист кончался. А эту, единственную, не сдал.

Уже начинало светать, и вдруг на какой-то момент — мне кажется, на секунду — я выключился. И тут же вздрогнул. Карты в руках не было. Не было ее ни под ногами, ни на земле. Унес ветер.

Пришлось пропустить вперед «восьмерку».

Первый раз в жизни я почувствовал усталость.

Приходила усталость, но приходил и опыт. За городом Сколе «девятка» третьим снарядом попала в мост, по которому двигался немецкий обоз. Пробив настил, снаряд взорвался, и мост рухнул.

Вырабатывалась интуиция. Обострялись зрение, осязание, слух. Как говорил Саша Мамленов, после некоторого времени пребывания на фронте артиллерийский офицер становится прибором.

А трудности росли: путь наш лежал в Карпаты. Армии 4-го и 1-го Украинских фронтов шли на помощь Словацкому национальному восстанию.

Так нашей бригаде до конца войны и не суждено было из Карпат выбраться. Только на некоторое время за Ужгородом она попала на равнину, прошла северной Венгрией и — опять в горы.

Мы застали щедрое карпатское лето, когда воздух в горах пахнет дикой малиной, и ласковую, тихую, солнечно-паутинную осень. Вначале. Потом бродили туманы, хлестали дожди и облака бессильно легли на хребты.

Капризной и своенравной оказалась зима. Выл ветер в ущельях, снегопады заваливали дороги. И журчали ручьи.

Бывало так, что погода менялась по нескольку раз в день. Утром шел снег. К полудню начиналось бурное таяние и в ущелья мчались потоки воды. И вдруг чуть ли не в одно мгновение все замерзало, каменело.

Замерзали капельки на ветвях деревьев и кустарников, не успевшие упасть. Ослепительно искрились на холодном, безразличном солнце. Ловили его лучи и, играючи, разбрасывали по сторонам.

Любоваться метаморфозами природы хорошо. Но как пройти и тем более проехать по дорогам, петляющим над ущельями? Это гладкий, звонкий лед, как на катке.

И сейчас вижу трактор, с воем несущийся под гору.

...Батарея стала перед крутым подъемом. Вперед пошел только один трактор с пушкой. Он поднялся почти до верха, до перевала, оставалось немного, но трактор выбился из сил. Снизу послали второй. На помощь.

Второй трактор уже подходил к первому, но на пово-

роте сорвался вниз — боком, на ребрах траков, как на коньках.

Я поднимался к перевалу, был на середине дороги, и он со стоном и воем пронесся мимо меня.

Тракторист тщетно пытался вывернуть машину — она не подчинялась управлению. Тогда он выбросился. А неуправляемый трактор, промчав в несколько мгновений километр с лишним, ударился краем «звездочки» о бетонный столбик на обочине дороги и долго-долго вертелся, как волчок... В десяти — пятнадцати метрах от колонны — от людей, орудий, прицепов, груженных снарядами.

...Потом декорация переменилась: брызнуло солнце — другое, теплое — и раскидало по горам охапками красные тюльпаны.

Все видели солдаты в горах. И белозвездные эдельвейсы встречали.

Теперь эдельвейсов, говорят, нет: туристы уничтожили.

Солдат не турист, цветы рвать не будет. Посмотрит, удивится, выскажется по-своему да и пойдет дальше.

А вообще горы для него — му́ка. Вниз — вверх, вниз — вверх. И жив человек в этих глинистых, каменистых горах одними консервами. Десны кровоточат.

Пробовали есть чеснок, но заметили: после чеснока трудно в гору подниматься: задыхаешься, пыхтишь.

Так вот пыхтел запомнившийся мне рыженький пожилой коновод, встреченный на вершине одного хребта.

...Сидим в траншее на НП и вдруг позади себя слышим треск сучьев и сопение. Потом появляется солдатик. Лицо густо обросло щетиной, ноги выше колен в глине, гимнастерка расстегнута, хотя далеко не лето. Жарко в гору идти.

На поводке у солдатика — лошадь. Тоже тяжело карабкается — пар из ноздрей. На боках, как бутылки, позвякивают друг о друга мины. По три с каждой стороны.

Старичок выбирается наверх, переводит дух, вытирает пот с лица старой пилоткой, глубоко вздыхает и, глядя в горную даль, ни к кому не обращаясь, грустно-раздумчиво произносит:

— Извели меня Карпаты!

Привожу эту жалобу с исправлением. Он несколько иначе сказал.

Чем дальше, тем нелегче становилось. Однажды мы десять или двенадцать дней не опускались ниже облаков. Так мы и назвали этот наш поход: дорога по облакам.

И там, на вершинах, среди чахлого кустарника увидели покосившиеся крестики, как на заброшенных сельских кладбищах Средней Руси — старые могилы русских солдат той войны, брусиловских солдат...

На Карпатах,
На Карпатах
Под австрийский
Свист и вой
Потерял казак папаху
Вместе с русой головой.

Осенью, когда бои шли на ужгородском направлении, батарея получила задание поднять один огневой взвод — два орудия — на гору Чертеж высотой 1186 метров.

Гора крутая. Дороги на нее почти нет. Тропка, по которой крестьяне возили сено. Дорогу прокладывали мы. Рубили деревья, счищали кустарник. Нам помогали саперы.

Раскисли от дождей склоны Чертежа. Пушки вязли в глине. Каждую тянуло по три трактора.

Чтобы тракторы меньше буксовали, бойцы подбрасывали под гусеницы куски узкоколейного рельса — «железяки». Накануне подъема таких кусков напилили много, просверлили в них отверстия. В отверстия продели толстую проволоку.

Когда трактор оставлял «железяку» позади, боец выдергивал ее за проволоку из глины и бежал вперед — подкладывать снова. Пять человек около каждой гусеницы. Работа, как на конвейере.

Не помню, кто придумал это приспособление — рельс на проволоке, кажется, командир второго орудия младший сержант Пономарев, но помогло нам оно при восхождении на гору Чертеж, а потом и на другие горы очень сильно.

Выручило — именно выручило! — и другое приспособление. К каждой пушке сзади было привязано тросами бревно параллельно оси колес. В расчете на то, что если орудие вдруг отцепится, бревно не даст покатиться ему вниз, в него упрутся колеса.

И был такой момент, когда лопнул трос, трактор сорвался с тормозов, сдал назад, вывернул у орудия стрелу, переломился сцепной палец, и... если бы не бревно и брусья, подброшенные под колеса передка, не миновать беды.

Но пушка тем не менее, хотя и медленно, ползла по

грязи вниз и остановилась в трех шагах от пропасти, упершись стволом в старое дерево.

Глохли тракторы, рвались тросы. Хорошо, что тросами мне помог один человек.

Это был бойкий парень, лейтенант-дорожник. Был раньше танкистом, пять раз ранен, хотели демобилизовать, но он запротестовал. Послали в стройдорбат — строительно-дорожный батальон.

Узнал у кого-то, что я москвич, прибежал:

— Где в Москве живешь?

— На Таганке.

Он был в восторге:

— И я на Таганке! Земляки! Таганские, они друг за друга!

Свои слова лейтенант подкрепил делом. Увидев, что все мои тросы порвались, предложил помощь:

— Ты постой. Я тебя сейчас обеспечу. Сколько тебе нужно?

Около ста метров драгоценного новенького стального троса отвалил щедрый лейтенант земляку. Не было мне дороже подарка! Пользовался этим тросом и потом — в Высоких Татрах.

Когда мы подняли пушки на вершину горы и закатили их в окопы, я снова увидел дорожного лейтенанта.

— Ну, помог тебе?! А ты на самой Таганке или рядом? А Федьку-Паганеля не знал? Длинный такой...

Федьку я не знал. Мы перебрали все «общетаганские» личности и под конец, к нашей взаимной радости, выяснили, что оба в детстве были пациентами доктора Розанова... Можно сказать, кровные братья, если в малом возрасте нас выслушивали одной и той же трубочкой и кололи одним и тем же шприцем!

Доктор Розанов... Бородка клинышком, очки в массивной роговой оправе, в одной руке — неизменный кожаный саквояж, в другой — зонт или трость. Мой первый доктор.

...А наутро вершина горы Чертеж, как кратер вулкана, начала извергать огонь. И долго-долго гулкое эхо орудийных выстрелов каталось по горам.

В горах своя акустика. Эхо усиливает звук.

Били по целям, по батареям у села Русский Поток, по лощинам, а когда задание выполнили, несколько снарядов послали просто на предельную дальность, как визитные карточки.

Потом, некоторое время спустя, мы были в тех местах, куда упали снаряды, посланные на предельную дальность. И очевидцы нам рассказывали, что эти неожиданные разрывы посеяли у гитлеровцев немалую панику. Они считали себя за хребтами в безопасности. И вдруг русские «прорвались»... Находившийся поблизости крупный штаб начал упаковывать чемоданы. Так что «визитные карточки» желаемое впечатление произвели.

Движется по земле маленькая частичка нашей великой армии — артиллерийская батарея. И она не только воюет. Она радуется, огорчается, удивляется.

Нас приглашали в дома и угощали обедами рабочие семьи. А в Краматорской обеды приносили даже на НП.

Наблюдательный пункт был на чердаке четырехэтажной школы, и туда залез мальчик с ведром каши: мамка прислала, беспокоится, что мы с утра ничего не ели.

В Западной Украине, в Прикарпатье и дальше на всем пути нам, молодым ребятам, открывался новый для нас мир, и многое в этом мире казалось странным.

Странным был пейзаж — поля, поделенные на миниатюрные полоски, клинышки. Поля из разноцветных лоскутков, как одеяло бедняка.

В предгорьях, в горах и за горами мы видели проносящихся в роскошных колясках заносчивых и чванливых людей, встречали их, одетых по лондонской моде, когда они неторопливо прогуливались с собачками по улицам городов и местечек. Словно и войны не было...

И мы видели мужчин в рваных пиджаках и домотканых рубахах по колено.

Питалась эта беднота овсяными лепешками с примесью картофельных очисток. Сама картошка на стол подавалась отдельно. Пекли лепешки без масла — бросали тесто на железный лист. Ничего-ничегошеньки в домах таких людей нет. Бедность кричащая, орущая! Чтобы читатель точнее, ощутимее представил то, что нас тогда так удивило и поразило, приведу отрывки из писем, что писали мы домой:

9 июля 1944 года: «В домах грязь, тут и люди, тут и козы. Все стены позавешаны религиозными картинами, и на полках — статуи святых...»

22 сентября: «Сегодня мадьяры открыли сильный огонь по небольшому леску. Лесок этот от нашего наблюдательного пункта близко. Спасаясь от обстрела, цивили побежали из полуразбитого села в этот лес, а там, на опушке, их и накрыл огонь. Они не разбежались, не укрылись в канаве — стали на колени в своей первобытной одежде и подняли такой молебственный вой! До самой земли преклоняли они свои косматые головы...»

28 октября: «...остановились на полчаса на привал. Сидим со старшиной и командиром взвода, уясняем дела. А хозяева капусту рубят. Вдруг ни с того ни с сего хозяйка начинает охаживать кулаками мальчика лет тринадцати. «За что вы его бьете?» — спросил я. «А как же не бить? Он слуга, а не хочет работать...» — «Из чего это видно? Он же вроде старался...» — «Старался? Вон палец нарочно, чтобы не работать, порезал...» Мальчишка рубил капусту и попал сечкой по руке. Рука была в крови...»

Но нас не так удивляла разница между богатством и нищетой, нас не так поражала сама нищета. Удивительно было, что бедные люди порою нам были не рады.

Спросишь: «Эта дорога идет в такое-то село?» Отвечают: «Не знаю» или несколько пространнее: «Раньше шла, а теперь неизвестно». Плоды работы ведомства Розенберга и местных националистов. Этим темным, обездоленным людям внушили, что в случае прихода русских их ожидает самое страшное, что есть на свете: Сибирь и колхоз.

А я только два года назад был в Сибири и еще не забыл вкуса сочных пельменей. И не стерлись воспоминания о богатом ишимском базаре, где силачи-казахи с кряхтением рубят коровьи и бараньи туши, где целые ряды заняты молочным: творогом, сметаной, ряженкой, молоком топленым и молоком «кубиками» — замороженным в формах. И это — в сорок первом и сорок втором, в войну.

В селе под Коломыей бородатый человек в домотканой рубахе, подпоясанной веревкой, прятался от меня за деревом, полагая, видимо, что я немедленно отправлю его в Сибирь к белым медведям. И придется тогда ему

оставить свою хижину с распятиями Христа, пустую хижину на краю смрадного болота.

Очаровал нас Ужгород — уютный, чистый и зеленый, если судить по несчетному количеству деревьев! Тогда на них оставались последние листья.

Мы вошли в него с первыми частями вечером и всю ночь вели огонь: гитлеровцы контратаковали.

Несмотря на то что было поздно и вокруг шел бой, горожане встречали нас на улицах.

У шеститонного прицепа, на котором «девятка» возила снаряды, лопнула ось. Обломилась в том месте, где она входила в колесо.

Собрались у накренившегося прицепа местные люди, успокаивают меня:

— Не волнуйтесь. Мы починим.

Говорят по-русски.

— А кто вы?

— Мы рабочие с завода «Козар Людвиг». Год с лишним дома сидим. Разогнали нас немцы. Электростанцию взорвали. Станки поломаны. Начальства никакого нет. Но завтра без приказа мы все решили выйти к семи часам. Так что подвезите прицеп вот туда. Это и есть завод.

— Когда будет готово?

— Завтра в четыре часа дня.

— Но у вас нет электроэнергии... У вас...

— Мы сказали: в шестнадцать ноль-ноль. Этот прицеп будет первой продукцией завода после освобождения...

В шестнадцать ноль-ноль я приехал на завод и не узнал свой прицеп.

Они не только поставили новую ось, но перебрали и заменили рессоры. На бортах, там, где было по одной гайке, привинтили вторую. Кроме того, прицеп выкрасили зеленой краской. Ступицы колес и спицы — красной, стрелу — черной.

Они работали влюбленно. И не пойму, как они смогли отковать и выточить новую ось, отполировать «шарики» на ее концах, изготовить новые рессоры, когда у них не было ни электричества, ни газа, ни пара, а станки поломаны! Прицеп передавал коренастый, ниже среднего роста человек с редкими седыми крапинками в волосах. И с

очень приветливым, добродушным взглядом. Отрекомендовался: «Я — директор».

За Ужгородом НП «девятки» находился около дома, на котором висела медная табличка: «Сей дом принадлежит американскому гражданину Иону Боднару, юридические права которого охраняются по поручению американского правительства швейцарским посольством в Будапеште».

Табличка была на венгерском языке, а рядом с ней — приколотая кнопками бумажка с русским переводом.

Некогда Боднар жил в Нью-Йорке и был капельмейстером. В доме на стене — память прежней профессии: фуражка с лирой и дирижерская палочка.

Он оставил музыку и приехал сюда потому, что врачи советовали переменить климат. Занялся сельским хозяйством. У него пшеничные поля, кукуруза, скот, виноградники.

Днем Боднар сидел на веранде в качалке, дымил трубкой и наблюдал, как работают батраки.

Он сидел на веранде и тогда, когда батраки разбежались, так как бой шел рядом.

Я думал: неужели он полагает, что авторитетная медная табличка верно охранит его и от осколков снарядов?

...Бои не утихали с рассвета до темна. Била артиллерия. Метали огненные стрелы «катюши». И не исчезали с небосвода веселые шестерки «илов».

«Илы» расстреливали передний край противника из крупнокалиберных пулеметов, высыпали на него мелкие бомбы и, покачавшись с крыла на крыло, уходили на аэродром. Немцы называли их «летающими танками» и «черной смертью».

К вечеру бой задыхался в дыму, мы оставляли на своей скирде одного наблюдателя и шли в гости к Боднару.

И тогда хозяин подавал команду жене и дочери:

— Солдатам — жареную свинину и чай, офицерам — курицу и кофе.

Вместе со мной был лейтенант Бородянский, командир взвода управления. Он отличался спокойствием, выдержкой и неторопливостью. Исповедовал принцип «тише едешь — дальше будешь». Но действовал всегда уверенно, наверняка. На вещи смотрел философски, чуть со скепсисом, с полуулыбкой. И излучал такое обаяние, что сердиться на него было невозможно.

Мы прошли с ним Западную Украину, Карпаты и стали друзьями. Он был верным товарищем, интересным собеседником, хорошо знал дело. Был горд, но без амбиции.

В часы передышек рассказывал мне о своих приключениях. Жил он в Харькове. В детстве убежал от родителей, путешествовал. Попал в детдом. Потом, насмотревшись разной жизни, успокоился, стал степенным.

Забегу вперед и скажу, как мы с Бородянским ночевали на вилле владельца мельниц.

Это было в Венгрии. Мы поехали с ним на разведку пути, и так получилось, что должны были постучаться в богатый дом с закрытыми ставнями.

Хозяина видели мельком: прошел по коридору, уткнувшись в поднятый воротник. Зато хозяйка, кстати говорившая по-русски, была почти весь вечер с нами. Представительная дама средних лет в выходном, эффектном платье. Словно в театр собралась.

Угощала нас разными яствами, которые приносила на серебряном подносе. Вздыхала:

— Какие вы молодые, совсем мальчики, и уже на войне. У меня сын тоже на войне. Тоже еще мальчик...

— Против кого же он воюет? Против нас?

— Ох, я не знаю, как сказать. Такое ужасное время... Столько жизней война бессмысленно уносит!

— Это его портрет? — спросил я, кивнув на фотографию на стене.

— Он.

Она ушла, пожелав нам доброй ночи. Мы заперли дверь, положили пистолеты под подушки и легли. Бородянский долго вертелся с боку на бок, потом сказал:

— Что-то мне не нравится эта пышная цаца. Давай устроим маленький обыск.

В одном из ящиков стола, который он удивительно легко как отпер, так и запер, Бородянский нашел эсэсовский кортик — огромный кинжал с красивой черной рукояткой из кости. На рукоятке с одной стороны — фашистская свастика, с другой — вставленный в круглую оправу портрет владельца.

На настенной фотографии и на кортике — одно и то же лицо.

— Во какую именную награду схлопотал у фашистов ее бедный мальчик! Я и предполагал что-то вроде этого. Слушал эту красавицу и думал: «Ну и горазда ты зали-

вать!» Дурак от ее сентиментальных слов расплакаться может...

...С Ионом Боднаром Бородянский очень мило беседовал после ужина. Спокойно говорил, вполголоса, с ухмылочкой. И в глазах его было написано: «Хитрый ты мужик, ничему тому, что ты говоришь, я не верю».

Боднара не тронули ни хортисты, ни нацисты. Табличка спасала. А теперь пришли союзники.

Союзников можно угостить. Свинины не убудет. Хозяйство крепкое. И интересно посмотреть, что же это все-таки за ребята.

Солдаты очень быстро нашли общий язык с пятнадцатилетней дочерью Боднара — девочкой общительной, непосредственной. Они научили ее играть в подкидного дурака. Девочка визжала от удовольствия.

Боднар разговаривал только на одну тему — вспоминал хорошую ньюйоркскую жизнь, выступления. О нынешнем житье-бытье говорить не хотел. От политических разговоров уклонялся. Не поддержал он и литературную беседу. Выяснилось, что Генри и Толстой ему неизвестны. Книг в его богатом доме не было.

С ним было удивительно скучно, хотя он был гостеприимен и приветлив.

Через несколько дней мы распрощались с Боднаром и перенесли свой НП в сторону. Он был тоже на скирде, и рядом тоже был дом. Только плохонький, тронутый снарядами.

В доме жила супружеская пара — обоим, видимо, по пятьдесят — и глухая старушка.

Встретила нас эта словацкая семья очень радушно. Беседы с нами вел в основном сам хозяин. Рассказывал о бедной своей жизни.

Потом обитатели дома стали собирать чемоданы. Пришел пехотный офицер и предложил им эвакуироваться в соседнюю деревню: слишком близко была передовая.

Они взяли с собой необходимое, остальное имущество закопали в землю. В опустевшем доме осталась только «Викторола» — проигрыватель — и куча битых пластинок.

«Викторола» похожа на красивую тумбочку. Пластинка кладется сверху. Внизу две дверцы. Чем шире раскрываешь их, тем громче звук. Заводится «Викторола», как граммофон.

Среди битых пластинок мы нашли две чудом уцелевшие. На одной была записана Кэто Джапаридзе: «Мой друг, не плачь: слезы портят ресницы. Тебе не к лицу черный цвет...», а на другой — венгерская скрипка.

Грустная, порой даже плачущая скрипка.

Плачет скрипка, что лето осталось позади, пришла осень, идут дожди. И падают листья. Пластинка так и называлась: «Серебряные листья падают с дрожащих берез».

А за окном тоже стояла осень и падали листья. Нет, они не падали — их срывал и уносил ветер. Ветер гулял по земле и быстро-быстро гнал по небу обрывки сиротски-серых облаков. Облака сыпали дождем. Под дождем мокли оголенные виноградники.

Тонко и нежно поет скрипка. То плачет она, то затихает, просто грустит, и слышна в этой грусти тихая торжественность.

Я вспоминал Москву, Тимошу и его музыкальную мастерскую. Я называл ее тогда «матрияльная мастерская», потому что Тимоша так произносил: «матриял».

«Сейчас клей варить будем и — работать, работать, работать...»

Мы заводили эту пластинку без конца. Стали страстными поклонниками венгерской музыки и искали потом новые записи ее.

А у «Виктоｒолы» и «Серебряных листьев» началась новая жизнь.

Заметив, что мы не отходим от проигрывателя и второй день крутим его ручку, хозяин перед прощанием сказал нам:

— Я дарю вам эту музыку. Возьмите ее с собой.

И поехала «Викторола» с двумя пластинками по фронтовым дорогам. Она лежала, бережно укутанная, на прицепе со снарядами.

В те дни к нам на батарею пришел праздник: о «девятке» писали в газетах.

18 ноября фронтовая газета «Сталинское знамя» напечатала большую статью генерал-майора артиллерии

С. Степанова «Могучая советская артиллерия». В ней были строки:

«В Карпатах наши пушки втягивались на такие высоты, куда немцы не могли поднять порой и батальонного миномета. Например, один наш огневой взвод тяжелых орудий поднял свои пушки на гору Чертеж (высота 1186 метров) и с этой высоты вел огонь...»

Под статьей была помещена фотография: орудия сержанта Фатюшина и младшего сержанта Пономарева на Чертеже.

Та же газета на следующий день, 19 ноября — а это был праздник артиллерии Красной Армии,— поместила на первой странице фотографию командира первого огневого взвода старшего лейтенанта Мазниченко во время ведения боя.

Третья страница этого номера газеты была посвящена «девятке» целиком. На фоне снятого сбоку орудия — рисованный заголовок: «Героическая батарея».

Газета дала сводку: «За год боевых действий батарея нанесла следующие потери врагу: подавлено и уничтожено 18 артбатарей противника; разрушено 20 НП; уничтожено 10 дотов и железобетонных сооружений; сожжено четыре вражеских танка; разбит бронепоезд противника; разрушено два железобетонных моста, истреблено свыше 350 солдат и офицеров противника».

Как это происходило, рассказывали в своих заметках бойцы и офицеры «девятки».

Старший лейтенант Н. Мазниченко: «У переднего края противника долгое время действовал бронепоезд. Для него немцы использовали уцелевшее железнодорожное полотно. Бронепоезд появлялся неожиданно, производил огневые налеты по нашей пехоте и быстро исчезал.

С того момента как наша батарея заняла огневые позиции в этом районе, мы стали охотиться за вражеским бронепоездом... И вот однажды утром с ПНП сообщили о появлении бронепоезда. Командир батареи приказал дать пристрелочный выстрел. Ударило первое орудие сержанта Фатюшина. Командир батареи внес поправку и приказал дать огневой налет. Открыли огонь из всех пушек.

Вдруг раздался сильный взрыв. Наш снаряд угодил в бронеплощадку поезда, где хранились боеприпасы.

Около суток немцы возились у взорванного бронепоезда, но не могли починить. Мы держали его под огнем, раз-

били железнодорожный путь, окончательно разрушили паровоз. Вражеский бронепоезд перестал существовать. За это я был награжден орденом Красной Звезды, а мои бойцы Казаков и Бунчужный — медалью «За боевые заслуги».

Капитан С. Борисов (парторг дивизиона): «История артиллерии не знает случаев, когда пушка-гаубица весом в несколько тонн втаскивалась бы на высоту более тысячи метров, напрямую, по бездорожью... Тот, кто воевал в районе хребта Буковец, знает дорогу на высоту Чертеж. Она проделана по лесу. И когда пошли дожди, путь развезло. На дороге стояла глинистая булькающая жижа в полметра глубиной. По ней и тащила свои тяжелые пушки девятая батарея.

И орудия были на хребте!.. Мы разбили несколько вражеских батарей и помогли прорваться к Ужгороду пехоте».

Младший сержант Н. Пономарев: «Наши пушки обычно бьют с закрытых позиций, по невидимым целям. Но однажды пришлось бить прямой наводкой... Немцы бросили против нас танки. Они шли, стреляя на ходу. Один снаряд разорвался рядом и тяжело ранил моего командира орудия сержанта Бабурова. Я принял командование на себя...

А танки уже были в 800 метрах. Навел я на один танк и выстрелил. Снаряд угодил прямо в машину. Она сразу загорелась.

До вечера мы держали район, а утром опять бой. Снова я из своего орудия танк подбил. А всего за три дня я сжег четыре немецких танка, за что и был награжден орденом Отечественной войны первой степени».

Сержант Ф. Фатюшин: «Это было в предгорьях Карпат. Наши части, сбив врага, развивали наступление. Однако гитлеровцы подтянули резервы и перешли в контратаку. Одновременно они открыли бешеный огонь по нашей пехоте.

Так как орудия врага находились в укрытиях, командир батареи приказал бить бетонобойными снарядами.

Первые разрывы легли у вражеской батареи. Командир батареи засек их. На пристрелку ушло еще несколько снарядов.

— Батарейцы, огонь!

Все поняли: батарея немцев нащупана точно. Теперь

надо дать быстрого огоньку. Мой расчет и расчет младшего сержанта Пономарева едва успевали досылать снаряды.

— Стой!

Позже нам сообщили: четырехорудийная 105-миллиметровая батарея немцев разбита».

На этой странице выступал и я, как командир батареи. Рассказывал о бое за высоту 95,4 и других эпизодах. К каждой заметке газета дала штриховой портрет. Художник изобразил нас так, что мы в общем были похожи.

Я и сейчас храню этот желтый, истершийся на сгибах листок фронтовой газеты. Только заголовка нет: оторвали, искурили в свое время. Для восстановления общей картины пришлось обратиться в Ленинскую библиотеку.

А за несколько дней до «Сталинского знамени», 15 ноября, о «девятке» писала «Красная звезда». Она поместила большой очерк майора Н. Бойкова о том, как мы вели бои в горах, преодолевали высоты и прошли со своими орудиями по нами же построенному «Чертову мосту» над пропастью.

После Ужгорода замелькали другие города: Требишов, Прешов, Кошице, Попрад, Левоча, Матийовце...

Брались они с долгими, упорными боями.

Из письма от 14 января 1945 года в Москву: «...Гром тысяч орудий, непрерывные огненные языки «катюш», гул десятков самолетов, грохот бомб, море огня над немецкой обороной. И снова в одиннадцать часов утра дым закрыл солнце... Потери немцев колоссальные. Те, которые, уцелев, сдались в плен, наполовину потеряли разум. Но те, которые не сдаются в плен, лезут на рожон и валятся как мухи... Круглые сутки идет бой».

И напряжение, ожесточение не спадало. 29 марта одна только наша «девятка» выбросила за день из своих стволов десять тонн снарядов... А сколько же вся бригада? А другие части и соединения?

Мы вступали в новые города, местечки и села. Здесь нас ждали.

Еще кусочек из письма: «...В Чехословакии нас так встречает население, как редко где... В одном селе я видел: ходит староста с бубном, стучит в него и призывает

нести в подарок красным воинам кур и гусей. А потом мне говорят по телефону с огневой позиции: «Пришел старик, очень просит принять от него в подарок жареного гуся. Разрешите?»

И помню, как в другом селе крестьяне целовали колею дороги, по которой прошли пушки дивизиона: «Наш бог едет, спаситель...»

Оказывается, жители этого словацкого села очень боялись, что советская пехота отойдет, отступит и оставит их гитлеровцам. Те контратаковали и действительно немного продвинулись к селу.

Когда по нему прошла вперед наша артиллерия, крестьяне поняли, что отступать мы не собираемся. Вот почему целовали они колею дороги...

Я уже не говорю о том, сколь горячи и сердечны были наши встречи с людьми, у которых на шапках были нашиты косые полоски кумача, — со словацкими партизанами, повстанцами.

Так Красная Армия освобождала Чехословакию.

...И никогда не было столько потерь, сколько там.

Перед очередным прорывом командиры пехотных полков сказали на совещании в штабе корпуса: успех гарантировать трудно, впереди доты.

«Девятку» выбросили на прямую наводку.

Передовая шла по низине, по речушке. К речушке — пологий скат. На этом скате, на голом месте, на пахоте мы установили ночью два орудия — огневой взвод.

На том берегу стояли двадцать бетонных сооружений над погребами. Их и переоборудовали немцы под доты.

Чуть выше — деревня, за ней — крутой подъем и высоты. Ситуация знакомая: они наверху, мы внизу.

Едва рассвело, мы дали двадцать выстрелов: хватило по одному на каждый бункер. Расстояние меньше четырехсот метров, снаряд летит, не делая траектории, — прямой выстрел.

Бетонных колпаков больше не существовало.

Но действия «девятки» не остались без ответа. Едва она закончила уничтожение пулеметных гнезд, как на нее обрушился целый дивизион тяжелых орудий.

Сначала весь огонь он сосредоточил на наших пушках. После того как немецкие фугасы попали в погребки с зарядами и снарядами — их оставалось по десять ком-

плектов в каждом, для самообороны, — один за другим раздались два огромных взрыва.

Тогда огонь был перенесен на НП, который находился чуть в стороне от огневой. Добивали нас с разведчиком Максимовым.

Били минут пятнадцать-двадцать. Брустверы с окопчика срезали начисто. Нас засыпало землей. Но мы остались живы.

Правда, Максимов после этой трагедии резко изменился. Сдали нервы, начал кричать во сне, стал суетиться, падать на землю, заслышав свист снаряда даже где-то далеко, в стороне. Для работы на НП он больше не годился. А очень хороший был разведчик!

Не буду говорить, какой предстала моим глазам наша огневая к вечеру, когда начали густеть сумерки, а на горы лег туман.

Стальная станина одного из орудий, полуторатонная станина, была согнута в подкову...

В прошлую ночь мы рыли окопы, а в эту — братскую могилу. Утром — похороны.

Через несколько дней в батарее снова было четыре орудия, добавили людей. Но многих опытных огневиков ей недоставало.

Шла бригада по дорогам Словакии. Шла зигзагом, чуть вправо — и мы в Польше, чуть влево — в Венгрии.

И на одной из этих дорог повстречались две машины, два обшарпанных газика.

В них были капитан Исаков и я.

Исаков на ходу высунулся из кабины и показал мне четыре пальца...

Я не понял, что он этим хотел сказать, и через два или три часа соединился с ним по телефону. Он пояснил:

— Из командиров дивизионов и батарей, из начальников штабов, из тех, кто шел от Донца, нас оставалось пятеро. Перед тем как мы встретились на дороге, мне пришлось загнуть один палец... Теперь четверо...

Грустно, тяжело говорил он. Я не узнавал Исакова, всегда живого, бойкого, хитро подмигивавшего.

Отдал трубку телефонисту, стал вспоминать, кого с нами нет.

Нет капитана Краселя, нет бывшего командира «девятки» старшего лейтенанта Красова, передавшего мне батарею, нет комдива-1 Саши Мамленова, командира батареи старшего лейтенанта Дегтянникова... И нет командира батареи старшего лейтенанта Георгия Полтавцева.

Незадолго до того как мы навсегда расстались, он пригласил меня вечером к себе на НП.

— Стемнеет — приходи, — говорил он по телефону.— Мы же совсем близко. Встречать выйду. Какого черта мы, как кроты, в своих норах сидим, в гости не ходим? Ночью все равно тихо. Приходи. Печку для тебя натоплю. Портвейном угощу. В военторге разжился. Ребята принесли. Давай пир устроим.

Я просидел у него на НП до глубокой ночи.

— Портвейн, конечно, дрянь, — говорил он. — Но гражданку напоминает. Дома по праздникам родители пили.

Говорили мы с ним о медлительных западных союзниках, обсуждали рассказ Кожевникова «Март — апрель». Политуправление фронта только что выпустило его брошюрой-листовкой.

Тихонько спели «Землянку».

— Почитай, какие знаешь стихи, — попросил Полтавцев.

Вспомнились асеевские «Синие гусары»:

Глухие гитары,
высокая речь...
Кого им бояться,
и что им беречь?
В них страсть закипает,
как в пене стакан:
Впервые читаются
строфы «Цыган».
...Тихие гитары,
стыньте, дрожа:
Синие гусары
под снегом лежат!

Стихи о декабристах, товарищах Пушкина.

Полтавцев вздыхал:

— Эх, когда же мы возьмем Каменку?!

Это было там, на каменской земле.

Спрашивал, как обычно:

— Письма тебе пишут?

— Давно не было.

— А от кого ждешь-то? От девчонки какой-нибудь? Ты девчатам не верь, послушай старика.

Когда я собрался возвращаться, он сказал:

— Пойду тебя проводить. Как полагается в хороших домах.

Мы вышли из блиндажа. Кто мог знать, что пройдет несколько часов — и утром 11 января 1944 года в этот блиндаж врежется тяжелый вражеский снаряд...

Все, что осталось от Георгия Алексеевича Полтавцева, положили в ящик из-под заряда и поставили в степи под Белозеркой деревянный памятник с железной красной звездочкой.

...Синие гусары
под снегом лежат!

Я продолжал вспоминать товарищей — офицеров, которых смерти и ранения унесли из бригады. И вдруг...

— Вы с Исаковым, кажется, друзьями были?

Это далекий голос в трубке. Из штаба бригады. Тревожный, прерывистый голос.

— Да, да... Случилось что-то?

— Его штаб был в лесу, в палатке... Немцы забросали гранатами. Диверсионная группа.

Я снова увидел дорогу, газик второго дивизиона, невеселое лицо Исакова и четыре пальца...

День был тяжелый, угрюмый.

Наступление захлебнулось. Я сидел на чердаке крытого черепицей дома, рассматривал в стереотрубу край села Гамри, занятого противником. Шел поиск вражеских батарей.

Низко-низко, почти касаясь крыш, над нами пролетели два фашистских самолета. Били из крупнокалиберных пулеметов.

Бомб не сбросили. Бомб у них не было.

Многого у них уже не было. Наша сила росла. Их — скудела.

Посыпалась, зазвенела вокруг черепица. Одна из пуль попала в винт стереотрубы. Вот уж буквально перед моим носом! Винт она срезала.

Командир дивизиона передал по телефону распоряжение, чтобы я шел вперед, ближе к передовой. Назвал высотку в лесу, где должен быть мой новый НП.

Высотка оказалась для наблюдения неудобной, но хорошо оборудованной: на ней было пулеметное гнездо противника. Траншея, блиндаж в несколько накатов. Глубоко под землей, ступенек на пятнадцать, находилось просторное убежище. Стены и потолок обиты цинком. Посредине большой стол.

Мы выставили часового, наблюдателя и спустились в убежище.

Надо было связаться с дивизионом по радио, доложить, что НП не годен, телефонную связь тянуть на него нет смысла: высотка на поляне, с трех сторон поляны лес. Деревья высокие, но тонкие. На них не заберешься. А с земли ничего не видно. Предстоит выбирать другую точку.

Пока настраивали рацию, ко мне подошел связист Шатохин.

— Можно, я пойду посмотрю, что тут, как тут вокруг, а?

— Шатохин хочет лично провести рекогносцировку, — прокомментировал Маликов. — Вот беспокойный.

— А я лес посмотрю. Странное какое-то тут место...

Он ушел. Мы не успели еще соединиться по рации с дивизионом, как наверху на лестнице послышался частый топот и голос Шатохина:

— Все наверх! Нас окружают!

Выбежали в траншею. С трех сторон — автоматный огонь. Не били только с той стороны, где скат был чистый, безлесный.

Мы кинули несколько гранат и, воспользовавшись мгновенной паузой, когда автоматчики попадали на землю, перемахнули через бруствер.

Отползли в сторону шоссейной дороги и окопались в снегу.

Нападавшие взять в кольцо нас не сумели. Атаковать на чистом месте не решались.

Свое преимущество — внезапность — они утратили.

Шатохин потом рассказывал:

— Только я в лес вошел, гляжу, идут, крадутся. Меня тоже потом заметили, но стрелять не стали, чтобы не поднимать шума...

Да, Шатохин как чувствовал: «Я лес посмотрю, странное какое-то тут место». С НП нападавших можно было заметить очень поздно — в то время, когда они уже вышли бы из лесу.

А внизу, в трехстах метрах, по шоссе двигались автомашины. На нас, лежавших в снегу с автоматами, направленными в сторону налетчиков, неожиданно легла обязанность охраны дороги.

Я доложил по рации обстановку, и скоро подошло несколько фургонов с пехотой — на проческу леса.

Новый НП заняли только через два часа. А когда установилась телефонная связь, до нас донесся тот далекий голос из штаба бригады. Голос, который сообщил о трагедии во втором дивизионе.

Оказалось, что штаб Исакова находился неподалеку от нашей высотки, в том же лесу, и, видимо, налет на штаб и на наш НП был совершен одной и той же диверсионной группой.

И тогда я сам себе показал три пальца.

Весна была солнечная, бурная. Горы пестрели цветами.

Война шла к концу.

В первой декаде апреля бригада на несколько дней стала. Вернее, стало восемь батарей, а одна пошла вперед.

Той, которая пошла вперед, была «девятка».

Остальные батареи отдали ей оставшиеся снаряды, слили в баки горючее, дали еще несколько бочек про запас и, как говорится, помахали рукой.

«Девятка» была придана дивизии, и я подчинялся ее командиру. С ним у меня сразу наладился хороший деловой контакт.

Я слушал в трубке его спокойный, властный и в то же время не приказной голос: «Попрошу тебя кинуть штук десять по следующим координатам...» Или: «Помоги нам в таком-то квадрате. Понаблюдай и прими решение».

Двигались быстро. Несколько выстрелов, и — орудия на передки. Это было упоение движением!

Наш путь лежал на город Жилина.

Но Жилину с ходу, как другие города и местечки, нам не взять. Здесь группировка гитлеровского генерал-фельдмаршала Шернера даст нам бой. Того самого Шернера, который держал на Днепре никопольский плацдарм. Мы снова с ним встретились.

Сводка о том, что советские войска овладели Жилиной,

«важным узлом дорог в полосе Западных Карпат», будет передана по радио только 30 апреля.

А было 14 апреля.

Утром командир дивизии предложил мне занять наблюдательный пункт на горе 980 метров.

Я посмотрел на эту крутую гору, наполовину голую, наполовину заросшую лесом, и ответил, что с нее будет плохо видно: помешает другая гора.

Я говорил неправду. Просто мне очень не хотелось залезать именно на эту гору. На любую другую — только не на эту. Почему? Не знаю. Может быть, потому, что «человек, долго пробывший на войне, становится прибором».

Если не считать невинных детских грешков, это была моя первая кривда.

Не хотелось. Но командир дивизии настоял на своем, и вот мы уже ползем, карабкаемся, обливаемся по́том, рубим палки — «альпенштоки» и — опять вверх.

Около самой верхушки — ветхий деревянный домик, пониже его — каменный бункер. Здесь пустынно, никто не живет.

Считанные шаги — и мы на пике. Немецкая передовая внизу под нами. Хорошо просматривается оборона противника вглубь по долине.

Мы уже успеваем обосноваться на новом месте, протянуть «нитку» на соседнюю гору — к командиру дивизии и даже пристрелять репер, большой камень-валун поблизости от деревянной часовенки, как ситуация изменяется: немцы частью сил отходят. Среди бела дня. Выбегают из рощицы, что по соседству с часовней, строятся колонной, ведут вьючных лошадей. И батальон — их человек пятьсот, не меньше, — начинает марш в свой тыл.

Они, видимо, полагают, что в условиях гор такой крутизны наш артиллерийский огонь их не достанет.

Хочу доложить о замеченном командиру дивизии, но он опережает меня:

— Слушай, бэзмовец, видишь, что там происходит?— Бэзмовец — это в данном случае вроде комплимента: БМ — артиллерия большой мощности. — Видишь? Дай-ка им покрепче. Хотел «катюшников» просить, но у них начштаба куда-то ушел. А без него приказы недействительны.

Полковник говорит со мной особенно ласково потому, что знает: у меня лимит на снаряды. Столько-то в день и не больше.

Но кроме официального боезапаса было у меня и некоторое количество «зажатых» снарядов, оставшихся от прошлых стрельб, но списанных как израсходованные. Мой личный секретный резерв.

Нет, значит, первая кривда была раньше.

— Давай, очень прошу, — продолжает полковник. — У тебя там как раз камень пристрелян. Я видел разрыв. Чуть правее и дальше — прямо в самую колонну попадешь... Бей на уничтожение. Штук сорок, я отвечаю.

Они, конечно, далеко не уходят. Их перебрасывают на соседний участок. Пятьсот человек. Я знаю, что это такое в условиях горной войны. Иногда два пулеметчика засядут в ущелье, в скалах — и целый полк лежит, подняться не может.

«Девятка» дает выстрел первым орудием — снаряд падает около колонны, и — залп всеми четырьмя.

В колонне, накрытой разрывами, возникает замешательство. А «девятка» переходит на беглый огонь, и в считанные мгновения немецкий батальон накрывают шестнадцать разрывов.

Люди бегут назад, орудия увеличивают прицел, и снаряды снова рвутся в их гуще.

Поле вымирает на глазах. Только скачут по нему большими кругами, как на ипподроме, несколько лошадей.

Слышу в трубке голос полковника:

— Спасибо, бэзмовец! Выручил!

А вслед за этим — уже по линии с батареи — другой голос:

— Ты что расстрелялся? У тебя вся огневая стреляными гильзами заброшена! Тебе давали лимит?

Это нагнавший на машине «девятку» командир дивизиона. Мои объяснения он не принимает.

— Иди к командиру дивизии и возьми у него справку, что за перерасход снарядов отвечает он! А тебя за такое самовольничание накажем...

Обещаю справку достать. Но сам я к командиру дивизии не пойду, пошлю командира взвода управления. Вдруг возникнут какие-либо чрезвычайные обстоятельства, а командир батареи за справкой ушел...

...Я оставляю НП. На нем все равно делать нечего. Иду к домику, и в это время все вдруг в моих глазах взрывается, меня бросает в сторону, я падаю и вижу сквозь дым разрыва бегущих ко мне товарищей — Бородянского, Маликова, Шатохина.

Спрашивают:

— Ранило?

Это был легкий щелчок в бедро. То, что я ранен, я не почувствовал, а увидел: на ноге кровь.

Больше наш НП немцы не обстреливали. На макушку горы упал один-единственный снаряд — мой.

Снял с себя полевую сумку. В ней лежали вещи, с которыми командир батареи не расстается никогда: карта, томик «Таблиц стрельбы», логарифмическая линейка, циркуль, хордоугломер, целлулоидный круг.

Сказал Бородянскому:

— Я отвоевался. Принимай «девятку».

Маликов и Шатохин повели меня в бункер на перевязку. Я шел довольно браво. Сам спустился по лестнице, лег на цементный пол и встать уже после не мог.

С горы тащила меня лошадь на плащ-палатке, прибитой к двум длинным жердям.

Жерди царапали концами по земле, по камням, носилки подбрасывало.

Долго волокла меня лошаденка.

А внизу, у подножия горы, стоял уже газик-полуторка и меня ждала вызванная по радио Любка.

— Господи, как раскровился! Ах, ах! Все в конце концов ко мне попадают. Только одна я вечная! Ребята, поднимайте его на машину!

В медсанбат меня везли Маликов и Любка.

Машину кидало на ухабах разбитой дороги, и, кажется, я скрипел зубами. Любка говорила:

— А если я тебя целовать буду — тебе станет легче? Ну, а теперь?

Когда к машине подошли санитары, мы обнялись с Маликовым и с Любкой. Настала минута грустная и тяжелая. У меня даже боль в ноге, кажется, приутихла. Маликов и Любка были последней ниточкой, которая еще связывала меня с теми, с кем шагал по дорогам войны два долгих фронтовых года.

Прощай, «девятка»! Хорошая, дружная, боевая, весе-

лая, никогда не унывавшая «девятка»! Ты навечно стала частью моей жизни. Самым дорогим, что у меня было. И я стал навсегда частью твоей.

Восемьдесят человек. Бойцы орудийных расчетов, трактористы, связисты, разведчики... Я знаю и помню глаза каждого. Помню и знаю, что каждый совершил. В каждого верил, верил, верил!

И уже с носилок я еще раз помахал рукой Маликову и Любке.

В медсанбате, в огромной, просторной палатке мне дали полстакана водки, положили на стол, сунули под нос резко пахнущую вату, заставили считать.

Когда я пришел в сознание, на меня смотрели глаза девушки, такой же молоденькой, как Любка. Только у Любки глаза были серые, и вся она была светленькой. А эта смуглая чернобровая. Из таких смуглянок состоял фронтовой полк связи, все девчата в нем были ставропольские, южанки. Это был полк красавиц. Увидали их однажды наши пушкари, остановившись на короткий привал в тыловом селе, — заохали, заахали от восторгов. А тут команда: «Моторы!»

— Проснулись? Как вы себя чувствуете? — спросила смуглянка. — Я сделала вам операцию. Теперь будете выздоравливать. Но не быстро. Наберитесь терпения на несколько месяцев. Осколок прошел через все бедро, пришлось рассечь ногу с двух сторон. А осколок — вот он. Возьмите. Покажете дома.

И положила мне на ладонь бурый от запекшейся крови кусок стали величиной с полпальца.

Обратный мой путь шел по той же дороге, по которой мы наступали.

Госпиталь находился в Оравском Подзамке, в бывшем отеле.

Оравский Подзамок — красивый, словно игрушечный, туристский городок со средневековым замком и белоснежной гостиницей.

Когда мы наступали, я забежал в вестибюль отеля выпить воды. Здесь было пустынно. Но все же я нашел человека в белом пиджаке. Он обрадовался:

— Посидите. У нас, правда, ничего нет, но хорошим вином угощу.

Я сказал, что некогда, попросил воды, служитель отеля пошел в подвал и принес мне бутылку холодной шипучей минеральной. И дал еще одну бутылку, в дар от себя — на дорогу.

...В окно госпиталя была видна круглая красно-кирпичная башня замка. На вершине ее на камнях росли деревья. Над деревьями летали птицы.

Она упиралась прямо в поднебесье. Глядя на такие башни, можно разговаривать с вечностью.

Я рассматривал ее дней восемь-десять; здесь мне два раза вливали кровь. А потом после изнурительного путешествия в автофургоне вместе с группой раненых я оказался в Рабке, в Карпатской Польше.

В Карпатской Польше я уже был. Наша бригада участвовала в боях под городом Новы Тарг.

В Рабке буйно цвел жасмин, и днем кровати с больными стояли в саду.

Цветы были и в палате. Их приносила заведующая отделением, наш лечащий врач старший лейтенант медицинской службы Ольга Федоровна Чернодуб.

Учась в институте, она готовилась стать детским врачом, но сразу со студенческой скамьи пошла в армию, переквалифицировалась на хирурга.

Я дал ей свое имя: Ангел.

Она, действительно, как ангел, не слышно появлялась в палате. Даже дверь, когда она входила, не скрипела. А у других скрипела.

Стояла, прислушивалась, кто как спит.

Только что в палате никого не было, чуть сомкнул глаза, потом открыл — и она перед тобой. Улыбается. Улыбка у нее тоже была ангельской, если ангелы действительно так чисты и обаятельны.

— Почему не спите?

— Не могу. Которую ночь не сплю.

— Возьмите таблетку.

Я проглотил таблетку и заснул. Потом она смеялась:

— Знаете, отчего вы спали? Я дала вам простую глюкозу. У меня наркоманов нет. Все больные спят от сахара.

Ангел делала мне вторую операцию и много часов сидела около меня не отходя. И поила морсом собственного приготовления.

Она входила в палату и рано утром, и поздно вече-

ром. В воскресенье, в день отдыха, — тоже. Только вместо форменного кителя и зеленой военной юбки под халатом — цветастое платье, а на ногах не сапожки, а туфельки.

— Что же вы не отдыхаете, Ольга Федоровна?

— Народ вы у меня тяжелый. Послеоперационники.

Даже когда ее не было, то казалось, что она рядом. Она могла возникать и растворяться.

Я лежал в гипсе на спине много дней. Дни были разные — короткие и длинные. Короткие, когда подскакивала температура, наступало забытье. То вдруг было утро и за ним сразу — сумерки, вечер.

Коротким днем было 9 мая.

Сквозь сон, сквозь дрему я услышал автоматную стрельбу. Спросил:

— Почему стреляют?

Голос Ангела мне ответил:

— Война кончилась. Победа пришла.

В длинные дни я думал и вспоминал. Я не пугался того, что случилось. И не огорчался. Это могло произойти и раньше. И должно было произойти. Когда-то надо было загибать еще один палец.

Мне выпал жребий совсем неплохой. Мне долго везло. Но везение бесконечным быть не может.

Госпиталь в Рабке свертывали, нас переводили в Краков. Принесли личные вещи, и тут выяснилось, что рюкзачок мой совсем тощенький. Ни гимнастерки, ни кителя, ни сапог. Особенно сапоги жаль. Сшил мне их из хорошо выработанной, почти глянцевой кожи солдат из расчета третьего орудия, в прошлом сапожник. И подарили мне эти сапоги орудийцы на день рождения. Надевал всего раз или два. Нельзя было носить каждый день такое красивое произведение искусства.

А плешивый мужичок-каптерщик, глядя на меня маленькими глазками, допытывался:

— Вы хорошо помните, что у вас было? Когда вас сюда привезли, вы были в сознании или без сознания? Может, у вас ничего такого уже и не имелось?

Краковский ЭГ-379 помещался на Раковицкой улице в большом трехэтажном здании, некогда принадлежавшем графам Любомирским.

Над зданием — купол с крестом. Ниже — скульптурная группа на библейский сюжет и родовой графский герб — щит с буквой «эл».

А у входа — надпись: «Послушание и труд». Она появилась тогда, когда здесь был устроен приют для сирот-мальчиков.

К зданию галереями примыкали два флигеля. На одном из них медсестра повесила табличку «ЛФК» — лечебная физкультура. Здесь «ломали» руки и ноги.

Я лежал на первом этаже в угловой комнате.

Когда разрешили ходить, выползал на костылях в сад перед домом, на Раковицкую.

На этой улице против дома Любомирских — костел пресвятой Марии панны.

...Стоят у входа в костел люди на коленях. Люди с отрешенными, отсутствующими взглядами. А наверху на башне бьют часы.

Сколько раз пробили они, пока я был в Кракове с мая по октябрь! Эти часы мы слушали в палате, по ним сверяли время.

По этим часам люди в госпитале жили. И умирали по ним же. Не одному пробили они последний час.

Вечером на соседней койке лежал человек, а утром открываешь глаза — койка пуста, застелена свежим чистым бельем.

Так было с новым моим соседом, которого звали Виктором. В прошлом он — драматический актер, на войне — минометчик. Ранен тяжело, ампутировали одну ногу, потом другую. На руке тоже была операция.

Жил на пантопоне. Убивал боль и спал. В бреду плакал, ругался и читал строки из «Гамлета». Роль Гамлета была его мечтой. Говорил: «Сыграть бы эту роль, тогда и умирать можно». Он еще не мог смириться с тем, что он уже не актер.

Он умер на рассвете.

На рассвете дежурные сестры совершали молчаливый и тревожный обход.

Война окончилась только на фронтах. Здесь она продолжалась. И отсюда шли страшные повестки в тыл, к

родственникам, которые 9 мая облегченно вздохнули: «Ну, слава богу, наш-то жив теперь остался».

Главным полем боя была операционная. Помню, привезли меня сюда, и я увидел, как неподвижно сидел на стуле, откинув голову назад, главный врач майор Горелов. На коленях — фартук в крови.

Сестры шушукаются:

— Дайте Горелову несколько минут отдохнуть. Он с ног валится. Которая операция без передышки...

Со стола только что сняли другого моего соседа, тоже минометчика — Кузю.

Рана у него страшная: вырван бок. А он постоянно шутит:

— Ничего, заживет. На мне, как на собаке.

Был в палате и четвертый — Петька. Так он просил себя называть — пехотный лейтенант, родом из Пензы. Раны у него небольшие, но не заживают, и на них каждый день льют расплавленный парафин.

Иногда мы втроем ходили за покупками к пану Яновскому.

По соседству с госпиталем на Любомирской улице был его маленький универсальный магазинчик. Торговал он всем, начиная от сигарет и трофейной немецкой водки и кончая велопокрышками.

Ян Яновский, лысый поляк лет сорока пяти, хорошо говорил по-русски.

Несмотря на то что он владел всего лишь лавкой, это был торговец международного класса. Давно еще, готовясь развернуть широкую торговлю, он изучил несколько европейских языков. Но судьба большого дела ему не послала. Однако от своих глобальных замашек Яновский не отказался.

— Война кончилась, а Гитлера так и не поймали. Может, он и вправду сгорел, а может, и скрывается, — рассуждал лавочник. — Знаете, что я сделал бы, если бы он оказался в моих руках? Я посадил бы его в клетку, возил по Европе и брал за это деньги с желающих посмотреть... А потом я убил бы его!

Из истории он тоже хотел сделать лавочку.

И все-таки этому неудачнику в сорок пятом повезло: по соседству расположился офицерский госпиталь, и значительная часть тех злотых, которые получали раненые офицеры, оказывалась в его кассе.

В Кракове тогда больше продавали, — вернее, пытались продать, чем покупали. На городских толкучках и просто на улицах стояли люди и предлагали кто что мог: конфеты, сигареты, бритвы, карандаши.

Стоит, стоит человек с просящими глазами — никто ничего не берет...

А мимо не спеша бредут беспечные монахи с лоснящимися грешными лицами. В длинных коричневых рубахах, подпоясанных веревками толщиной с канат. Мелькают белые крахмальные «крылатки» торопливых монахинь. Монахини спешат, не хотят выглядеть праздношатающимися. Пергаментные лица безразличны. Окружающим монахини интересуются только краешками острых, всевидящих глаз.

Бежит по тротуару мальчик. Звонит в колокольчик, кричит: «Ксендз идет, ксендз идет!» Горожане становятся на колени.

Толпа пестрая. В ней и старые знакомые — выутюженные модники, и люди в потерявших форму замызганных пиджачках. И в домотканых рубищах тоже. Бедности много. Унылой бедности на фоне замерших, вечных костелов и монастырей бернардинцев, францисканцев и норбертанок.

На углах кварталов — вереницы лошадей с пролетками. Скучающие извозчики ждут седоков.

Эти извозчики были нашим спасением: на костылях город не обойдешь.

Брали пролетку и ехали узенькими средневековыми улочками мимо тесно прижавшихся друг к другу домов с тяжелыми черными дверьми.

Проезжали мимо круглого «Барбакана» — бывшего крепостного форта — и попадали на площадь Главного рынка.

Пешие прогулки ограничивались ближайшим районом. В нем находился железнодорожный вокзал. На вокзал мы ходили, срезая угол, через проходной двор. Смотрели, как в Россию отправлялись поезда. По домам грустили.

Только два старичка, которых положили в нашу палату на место умершего Виктора и выписавшегося Петьки, не торопились. Однажды я слышал их разговор:

— Давай не будем спешить. Скажем доктору: тут болит, там болит. Лишних две недели прокантуемся, окрепнем.

— Это верно. Старухи, они подождут. А в санаторию когда еще попадешь!

Но врач их тактику разгадал быстро.

— Что? Не можете ходить? Вы уже должны ходить! Я вас сейчас научу ходить. Сестра, принесите костыли!

Старички охали, стонали, но старший лейтенант медслужбы оставался непреклонным:

— Вы поймите: движение — это жизнь! Жизнь — это движение.

Мы очень любили этого врача. Был он молодой, энергичный, крепкий. Приходил на осмотр, и от него веяло ледяной вислинской водой. Перед обходом он спускался в котельную, раздевался, и истопник окатывал его из шланга.

Когда главный врач уставал и не мог продолжать операции, то говорил: «Позовите старшего лейтенанта».

Операции он делал мастерски.

И я к нему под нож попал. А потом наступил день, когда он, подойдя к моей койке, крикнул:

— Сестра, костыли!

Надо было делать первый шаг.

Я вернулся в Москву 12 октября 1945 года.

Добирался «на перекладных».

В Кракове Кузя пристроил меня в угольный эшелон. Кузя принадлежал к той категории людей, которые повсеместно встречают своих однокашников, однополчан и односельчан. В этом случае его однополчанином оказался военный комендант станции, усадивший меня в теплушку бригады, сопровождавшей уголь.

В угольном эшелоне я пересек границу. Пограничники проверяли документы.

Я вспомнил, как год назад «девятка» пересекла границу СССР.

Бежала по камням торопливая горная речка, звенела и пенилась вода на каменных порогах. Ветер срывал с деревьев последние листья, и их уносил поток.

Я остановил полуторку, в которой мы ехали на разведку пути, и сказал солдатам:

— Это последние сантиметры советской земли. Мы переходим государственную границу...

Не один год ждали мы, когда от врага будет очи-

щена вся наша земля. До последней пяди. Было торжественно.

Доехали до Львова. Дальше угольный эшелон не шел. Я блуждал по путям. Стучал: куда пустят.

За спиной — рюкзачок. В руках два костыля. Нога подвертывается: стопа висит, коли иголкой — не чувствует. И бинт уже набух. Обе раны — открытые. Сам виноват: уговорил врачей раньше времени выписать.

Спросил у железнодорожника:

— Куда идет состав?

— В Ленинград.

Сел в него. В Ленинград так в Ленинград. Это север, это близко к Москве.

Но произошла ошибка. Я проспал в эшелоне ночь, а утром выяснилось, что он будет стоять на месте.

Несколькими поездами добрался до Киева. Киев порадовал меня билетом на Москву, перевязкой и двумя буханками хлеба с салом — пайком за прошедшие дни.

Сало я, как всякий солдат, съел сразу. Одну буханку сунул в рюкзак, другую, которую девать мне было решительно некуда, отдал уборщице, подметавшей зал ожидания.

Уборщица сделала большие удивленные глаза и, видимо, подумала, что я контуженый: нормальный человек так просто буханку не отдает и ему известно, что она стоит сто рублей.

Никогда никто так меня не благодарил! Уборщица скрылась, забыв посредине зала метлу.

Поезда не было, и в его ожидании демобилизованные, которых собралось видимо-невидимо, чистили в очередь сапоги. Щедрый комендант вокзала выставил прямо на перроне два бочонка то ли с мазутом, то ли с солидолом, во всяком случае, с каким-то нефтепродуктом, и к двум бочонкам этой смазки бросил тряпки и палочки.

Комендант понимал, что возможностей улучшить свой серенький внешний вид у солдата весьма немного: пришить чистый подворотничок, начистить бляху на ремне, если такая имеется, и, конечно, смазать сапоги.

Поезд брали на абордаж. Из демобилизованных, которым дали на него билеты, можно было сформировать несколько полков.

Кто-то гаркнул мне сзади в ухо: «Крепче прижми костыли, лейтенант! Подброшу!» И я оказался в тамбуре.

Ехали ночью. Люди спали в четыре яруса. Сапоги на полу под лавками, сапоги на лавках, сапоги на откидных полках, сапоги под потолком на полках для вещей. И все намазанные, начищенные. Адски пахло мазутом.

Спали в тамбурах и проходах.

Бодрствовали только четверо молодых офицеров в аккуратных новеньких мундирах. Играли в карты на кожаных чемоданах апельсинового цвета.

Мой сосед спросонья, глядя на них одним глазом из-под пилотки, сказал:

— Эти имели шо с войны.

Москва встретила нас хмурым ненастным осенним утром. На перроне Курского вокзала трепетал на ветру транспарант: «Привет демобилизованным воинам!»

Ехал на такси, на старенькой эмке, через Землянку, через Таганку.

На меня смотрели потемневшие дома с морщинами трещинок на стенах. Еще не стерты были надписи и стрелки: «В убежище». Не заштукатурены следы от осколков бомб. И так же, как и на Курском вокзале, трепал ветер над постаревшими улицами транспаранты: «Привет...», «Слава...»

Я увидел город, уставший от войны и от побед.

Мама открыла дверь, растерялась, бросилась ко мне, потом стала звать соседку:

— Смотри, кто приехал! — Заплакала тихонько. Остановила себя: — Ой, что же я? — Потянула за рукав: — Ты проходи, проходи.

Я переступил порог дома, где не был четыре года. Почти четыре: уехал в начале ноября сорок первого. В Сибирь шел второй эшелон спецшкол. Вывозили оборудование.

Первый отправился из Москвы тревожной, смутной, суматошной ночью 16 октября.

Мама поседела. Когда я уезжал, у нее не было ни одной сединки. И ростом, казалось, стала пониже. И глаза ввалились. Она пережила дни разлуки, дни одиночества. Она пережила смерть отца. Похоронила его на Рогожском кладбище. Сама долбила промерзшую январскую землю: могильщик запросил такие деньги, каких у нее не было.

Так и жила одна: старший брат, Леонид, находился с заводом в эвакуации. Вернулся потом, позже.

В комнатах все было так, как и прежде. Только обои выцвели, так выцвели, что даже не понятно, какой на них был рисунок. А по переднему углу шла забитая паклей трещина — след бомбардировок.

И, как прежде, висел на стене портрет деда. Борода на две стороны, и очень строгий, повелительный взгляд. Я никогда его не видел и не знал, почему он так сурово позировал перед фотоаппаратом. Родители мои были мягкие, добрые.

Мы сидели за столом до самого вечера. За столом, за разговором нас и застал Леонид, вернувшийся с завода.

Потом пришел Константин Гущин. Голова забинтована, в руках костыли, к ампутированной выше колена ноге привязана деревяшка-самоделка. Протеза он не носил. Был Костя высокий, грузный, и протез в кровь растирал остаток ноги.

Спросил меня, странно и жалко улыбаясь:

— А помнишь красноармейца ОДОНа, который тебе пуговицы от шинели подарил? А? А на парад кто тебя водил? Я ведь это говорю так... может, не узнаешь сразу... Я сам себя в зеркале не узнаю.

Рассказал мне Костя о своих фронтовых путях-дорогах, рассказал о гибели своего младшего брата Павла.

Павел до войны жил под Москвой в деревне. Срочную в армии по болезни не служил. На его воинском билете стояло непонятное мне слово: «Терчасть».

Я приезжал к нему летом во время школьных каникул. Спрашивал:

— А что такое терчасть?

— Это значит, что для фронта непригодный.

И я вместо имени называл его Непригодным. Он не обижался.

Павел Гущин в войну был не в терчасти, а на фронте. Танкистом-радистом. В одном из боев танк был подбит, радист не мог покинуть пылающую машину, так как передавал срочное оперативное донесение, и сгорел заживо. Об этом написали его боевые товарищи, поведавшие родным об отважном танкисте Павле Гущине и его гибели.

А Константин недолго после войны протянул.

Ранения, особенно черепное, разрушали его здоровье

с каждым днем. Он умер и навсегда остался для меня первым военным, самым главным командиром, хотя был рядовым.

В двадцать один год я стал гражданским человеком, и к тому же пенсионером.

В трамвай — вход с передней площадки.

Но только в трамвай.

Надо было решать, что делать. Жизнь пошла не так, как предполагалось. Предстояло начинать ее снова.

Хотел учиться, поступить в институт. Мой аттестат и другие документы давали мне право быть зачисленным без экзаменов.

В Министерстве высшего образования меня очень приветливо принял мужчина в черном морском кителе с якорями на пуговицах.

— И куда вы хотите поступить?

— В полиграфический. На редакционно-издательское отделение.

— Почему именно туда?

— Так. Кое-что писал...

— Что писали?

— Рассказы. Один даже премией отметили. В сороковом году. На городском конкурсе.

Мужчина в кителе повздыхал, сказал, что мое желание весьма похвально, но, к сожалению, я опоздал. Учебный год уже начался.

— Но вы не огорчайтесь, — успокоил он меня. — Хотите, как я понимаю, быть журналистом? Ну и будьте им. Люди в журналистику приходят по-разному. Бог знает, откуда приходят. И высшее образование не так уж обязательно...

Мне стало легче. Мама, брат, родные и знакомые — все твердили одно и то же: я должен немедленно поступить в вуз. И только в Министерстве высшего образования думали иначе. И не только думали — дали практический совет: идти в газету «Московский комсомолец».

В те же дни произошло событие, которое определило мою дальнейшую жизнь.

Однажды Леонид сказал, что зисовская газета «Сталинец» расширяется, переходит на ежедневную четырех-

полоску и редактор Клюев, с которым он встретился, просил меня зайти.

В результате моего посещения редакции появился приказ о зачислении в штат нового литературного сотрудника. С испытательным сроком.

Мне поручили вести отдел комсомольской жизни.

Но через несколько дней Александр Иванович Клюев дал мне еще одно поручение.

— Со следующей недели кроме комсомольских материалов будете сдавать сатирическую страницу. Не справитесь — уволю: у вас еще не кончился испытательный срок. Поймите: газете нужна сатира. Без сатиры мы дело не поднимем.

Так по приказу, под страхом увольнения я стал сатириком. А поскольку этого приказа позже никто не отменял, так я им и остался.

Пять лет на автозаводе и были моим журналистским университетом. Кроме заводской газеты писал в «Комсомолец». Совет человека в черном морском кителе пригодился. Потом работал в молодежных журналах, в «Крокодиле», писал рассказы, фельетоны. Были будни, и были праздники.

И все больше и больше отдалялся я от тех дней, когда ходил в шинели. И тем чаще и чаще стал вспоминать военные годы и своих товарищей.

Остывали камни — воспалялась память.

Сначала, в первую послевоенную пору, события войны были еще близко, мы не успели отойти от них. Не улеглись, не отстоялись впечатления.

Потом события ушли в прошлое и стали видеться с расстояния. Открылась панорама. И стала захватывать, волновать. И все в ней знакомо-знакомо. До замирания духа. До боли. До вскрика.

Рассматривая ее, разглядывая памятные высотки, деревни, перелески, ветряки, стога сена, водокачки, противотанковые рвы, часовенки и камни-валуны у дорог, — снова и снова переживает фронтовик войну. И ничто не забылось. И не стерло время ни лиц боевых друзей, ни дат, ни последовательности событий.

Однажды я решил отложить на время репортажи, рассказы, фельетоны и написать повесть о «спецах» и о войне.

Эту повесть я назвал «Песня о теплом ветре», она

вышла в 1966 году. И на первой же встрече с читателями я понял, что темы только коснулся.

А происходила эта встреча в родной, знакомой мне обстановке — в арматурном цехе автозавода имени Лихачева.

Меня очень ободрило теплое отношение читателей к людям, о которых я рассказал, их интерес к описанным в повести событиям и озадачили вопросы:

— Будет ли продолжение? Что произошло с героями дальше?

Эти же вопросы я прочитал в письмах-откликах. Ответить на них я не мог. Когда я писал повесть, о судьбах прототипов ее героев мне известно было очень мало. Я знал только тех, с кем вместе попал на фронт.

И я подумал, что рано или поздно мне придется вернуться к тем же событиям и написать вещь строго документальную. С продолжением. С доведением рассказа до наших дней.

ЧАСТЬ II

25 ЛЕТ СПУСТЯ



Я стал ждать писем, сигналов от «спецов». «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» Где же вы, отчаянные московские мальчишки, в пятнадцать лет надевшие военные шинели? И вдруг зазвонил телефон...

Первым я услышал голос Владимира Дергачева. Он учился не в моей спецшколе, не в пятой, что находилась у Абельмановской заставы, а во второй — на Кропоткинской улице. Туда он меня и пригласил, на Кропоткинскую, 12.

В доме, где до войны была вторая артшкола, сейчас средняя школа № 29. Бывшие «спецы» в содружестве с учителями и учащимися этой школы решили создать в ней музей боевой славы и передать его нынешним пионерам и комсомольцам.

— Инициативная группа «спецов», или, как мы называем, оргкомитет, собирается каждый понедельник в шесть часов, — сказал Дергачев. — Приходи. Будем ждать.

В понедельник я приехал на Кропоткинскую.

...В классе, увешанном географическими картами, стенгазетами и изомонтажами, сидели сорокалетние военные и штатские, делали на ватмане эскизы стендов, набрасывали проект панорамы артиллерийского боя. Вместе с ними за столом работал бывший военрук второй спецшколы Ефим Ильич Левит. В форме полковника, с планками наград. Орден Ленина, четыре ордена Красного Знамени, орден Суворова...

Последний раз до этого я видел военрука второй спецшколы в 1940 году в лагерях Военно-политической академии, где наши школы проходили лагерный сбор.

Поседел с тех пор Ефим Ильич. И его воспитанники, как и я, поседели.

Но седина не помеха, о ней забываешь, особенно тогда, когда бывший учитель командует в классе бывшими учениками, называя их по именам.

Тогда, давно, он обращался к ним: «Учащийся Иванов...» «Учащийся Петров...» Так требовал устав. Теперь: «Петя», «Вася». Нежнее.

А в общем, все, как в прежние времена. И даже отчитывает он их, как тридцать лет назад: «Почему ты опоздал? Никаких оправданий...»

Курс учебы и воспитания продолжается.

Экспонатов для музея было уже немало: нашли фотографии, письма, комсомольский билет, пробитый осколком. Прошедшие через фронты войны «спецы» отдали для музея самое бесценное и святое, что у них осталось от военных времен, — кусочки своей жизни: дневники, газетные вырезки, документы. То, что так долго и бережно хранили. Даже плащ-палатку один «спец» отдал. Плащ-палатку, в которой прошагал всю войну. Много документов, писем, орденов передали музею родители погибших спецшкольников.

Сидят за маленькими школьными партами сорокалетние люди, рисуют на ватмане экспозицию будущего музея боевой славы, и вдруг один из них говорит:

— А если бы мы пушку раздобыли, полковую пушку, на которой мы учились? Какой же артиллерийский музей без пушки?

Левит отвечает:

— Не первый раз, ребята, задаете вы этот вопрос. Мы ведь давно ищем такую пушку. Но трудно ее найти...

Легче отыскать древний клад, чем пушку нашего детства и нашей юности — семидесятишестимиллиметровое полковое орудие образца 1927 года. Может, где-то в других музеях попросить? Или на старых артиллерийских складах?

После встречи со своими ровесниками, бывшими «спецами» второй артшколы, я вернулся домой и смотрел по телевидению фильм о майском военном параде.

По Красной площади тягачи тащили огромные ракеты.

Далеко, очень далеко шагнула военная техника. Когда-то высшим ее достижением были прославленные «катюши». Теперь — межконтинентальные ракеты.

Я смотрю на эту великую мощь и вдруг ловлю себя на мысли: думаю о другом. Я думаю о полковой пушке, о пушке нашей юности, потому что без нее не было бы и сегодняшних ракет.

Мы учились на ней, простенькой «семишостке». И в великую победу, которую одержал советский народ, одолевший немецко-фашистских захватчиков, внесли свой вклад тысячи московских комсомольцев, добровольцами пошедших в артиллерийские школы.

Теперь в армии служат их сыновья. Они стоят на посту у ракет, сидят за пультами электронных машин или у радиолокаторов.

А где же все-таки найти полковую пушку старого, довоенного образца? Она очень нужна не как оружие, а как источник вдохновения для тех, кому сегодня пятнадцать.

Музея еще не было, но в зале на втором этаже, где он должен был разместиться, уже висела мраморная мемориальная доска. Сначала на ней было высечено двадцать девять имен спецшкольников, погибших на фронтах Отечественной войны. Ниже оставлено белое поле. Шел розыск живых и мертвых...

Я еще вернусь сюда, на Кропоткинскую, 12, и расскажу о музее, когда он откроется.

Первый звонок принадлежал Владимиру Дергачеву. Второй...

— Здравствуйте, говорит брат Анатолия Белова...

— Белова?

— Да, да, бывшего спецшкольника Белова... Погибшего на фронте офицера... Вы ведь учились в пятой?

Белов... Белов... «Мушкетер»! Товарищ Мамленова! Сразу вспомнил: Гендриков переулок, библиотека-музей Маяковского... «Как у вас в спецшколе?» Потом фронт. Мы с Мамленовым и Исаковым сидим на скамеечке у штаба полка. «Как у вас на фронте?»

Вскоре ко мне приехали брат Анатолия — Николай Иванович и сын — Борис Анатольевич.

Белов женился сразу же после окончания спецшколы, и, когда он был в Одесском училище и на фронте, у него рос сын.

Сейчас Борис — специалист в области морской геоло-

гии. А вот давняя фотография, фотография с пометкой «29 августа 1943 г.». Стоит гордый трехлетний малыш, и у него на груди орден Красного Знамени.

Приезжал отец с фронта в Москву в отпуск на несколько дней и сфотографировал сына со своим орденом. Он видел его в последний раз.

...Боевое крещение Анатолий Белов принял под Лугой, дрался за прорыв ленинградской блокады.

Незадолго до прибытия на передовую, 7 декабря 1941 года, он писал отцу: «...В скором будущем вы уже письма от меня будете получать из действующей армии. Скорее хочется испытать свои знания и потягаться с немецкими офицерами, думаю, не уступлю гадам по спецделу (артстрелковой). Трудно пока еще, папа, на Ленинградском фронте, но надеемся скоро прорвать кольцо и вместе, соединившись с вами, покончить с мерзавцами. На этом они и найдут свое место — могилу!»

«...испытать свои знания и потягаться... не уступлю... по артстрелковой...» Так наивно-запальчиво и деловито мог написать только недавний «спец»! Если учащийся спецшколы получал тройку по общеобразовательным предметам, ему сочувствовали. Но схвати скверную оценку по артстрелковой подготовке — и ты будешь окружен презрением товарищей. Скажут, слабак. К военному делу ребята относились сознательно, высокими отметками в журнале гордились, артиллерию ставили превыше всего, готовились быть в ней профессионалами.

Анатолий Белов воевал под Ленинградом и на Украине. О том, как проявил он свои знания и свои личные качества, рассказывают пожелтевшие листки ежедневной красноармейской газеты «Гвардия». 2 марта 1943 года она писала: «Бесстрашно громили врага прямой наводкой артиллеристы капитана Белова — командиры орудий: старшина Тишин, сержант Кобелев... Меткой наводкой они из своих орудий разбили шесть вражеских дзотов и блиндажей...»

12 июня газета поместила фотографию группы артиллерийских офицеров, и среди них — Анатолий Белов. Подпись: «Лучшие командиры-артиллеристы, показавшие в недавних боях образцы мужества, отваги и умелого руководства своими подчиненными».

Хранят в семье Белова и письмо, полученное от командования:

«Дорогой товарищ Белов! Разрешите передать Вам и Вашей семье гвардейский привет и самые хорошие пожелания от имени 60 гв. КАП и его личного состава. Мы очень признательны Вам за то, что Вы вырастили и воспитали замечательного патриота нашей Родины, достойного воина Красной Армии — Анатолия Ивановича Белова.

С первых же дней формирования полка Анатолий Белов горячо взялся за обучение бойцов и подчиненных ему командиров и сумел сколотить боеспособный коллектив... Вот боевая работа батареи, где командиром является Ваш сын Белов. Батареей подбиты два танка, уничтожено 35 огневых точек и 7 дзотов противника, уничтожено большое количество живой силы немцев, автомашин с грузом шесть и т. д. ...Анатолий Белов пользуется любовью и уважением бойцов и командиров всего полка. На днях партийная организация полка приняла Анатолия Белова в ряды ВКП(б).

За отвагу и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, командование полка представило Анатолия Белова к правительственной награде — ордену Красного Знамени...

Командир 60 гв.КАП гвардии майор Гущин.

Военком 60 гв.КАП гвардии батальонный комиссар Иофин».

К ордену Красного Знамени Белов был представлен за бой, в котором он не только отразил атаку вражеских танков, но и обратил противника в бегство.

У артиллеристов есть выражение «преследовать врага огнем и колесами». Тем и отличился в этом бою Белов.

Старший помощник начальника штаба артиллерии 20-го танкового корпуса майор Анатолий Белов погиб 1 октября 1943 года под деревней Белкино, Запорожской области.

Полк, в котором служили Мамленов и я, в то время тоже вел бои в Запорожской области. «Мушкетеры» были недалеко друг от друга.

После гибели майора Анатолия Белова его боевой товарищ привез в Москву его шинель, фуражку, кобуру от пистолета, пропуск на стадион «Динамо», книжку «История Одесского артиллерийского училища» и полевую

сумку — ту самую полевую сумку, с которой он ходил в спецшколу и с которой он был, когда я впервые его встретил...

— Вот папина сумка...— говорит Борис.

...Так четверть века спустя я узнал о судьбе Анатолия Белова.

Встретился я и с родными Александра Мамленова — с матерью Марией Николаевной и сестрой Антониной Георгиевной. Не сразу нашел их: мне была известна только фамилия, и я даже не знал, кто из Мамленовых живет в Москве.

И вот я в их доме на Большой Филевской. Я читаю письма Саши матери и сестре — «треугольнички», в которых он рассказывает о себе, беспокоится о домашних, сообщает, что выслал деньги, спрашивает, не нужна ли в чем-либо маме и сестре его помощь.

19.2.42. «Пишу, сидя на снегу... Я был свидетелем и участником взятия десятков деревень и сел... Уходя, немцы все сжигают. Дороги, по которым мы продвигаемся вперед, усеяны замерзшими трупами немецких солдат и офицеров».

20.3.42. «...Моя батарея уничтожает окруженного противника, который не желает сложить оружие...»

4.7.42. «...Только что получил ваше печальное известие о гибели любимого брата... Я скоро отомщу за смерть Лешки. Я расплачусь за него... Извините, что пишу неаккуратно, но почему-то рука не слушается, хотя уже и здорова...»

1.1.43. «Мы продолжаем успешно продвигаться вперед, сметая на своем пути все, что попадается из вражеской техники и его живой силы... Я вступил в члены ВКП(б), думаю, что звание большевика оправдаю».

16.5.44. «...Здесь весна в полном разгаре. Сады цветут. А сколько садов! Воздух напоен ароматом... иногда даже забываешь, что война...»

Май сорок четвертого — это затишье. Бригада была за Луцком. А потом ее перебросили в Прикарпатье, и оттуда в дом на Восточной улице, где жила тогда семья, пришло известие о трагедии: «...с прискорбием сообщаем Вам о героической смерти патриота нашей Родины, замечательного советского офицера, любимца нашей части...» Изве-

щение подписал начальник политотдела подполковник Мищенко.

Письма от него Мария Николаевна ранее получала. Мищенко поздравлял ее с каждым новым орденом сына. Последнюю награду — орден Отечественной войны — Саша получил за несколько дней до гибели.

Если бы не тот коварный осколок, Мария Николаевна узнала бы через несколько дней, что ее сын — майор.

Командир тяжелого дивизиона, майор — в двадцать лет! Он, оказывается, был мне почти ровесником. Всего на три месяца старше. Но в школу пошел учиться на год раньше.

К тому времени, когда мы встретились на Северском Донце, он уже был кадровым фронтовиком: под Ленинградом воевал, под Сталинградом. Под Сталинградом был ранен в руку. Оставляли в госпитале — ушел на передовую.

А весной сорок третьего заглянул на несколько дней домой. Мать поинтересовалась:

— Что же ты в госпитале не остался лечиться?

Ответил:

— Я еще за брата не отомстил.

Спрашиваю Марию Николаевну:

— У вас было два сына?

— Да. И оба погибли на войне... Алексей — на два года старше Саши, пошел добровольцем. Немного повоевал... А до фронта на автозаводе работал. У нас вся семья автозаводская: муж мой, Георгий Акимович, много лет на ЗИСе был, дочка там же в войну работала, и я тоже... Автоматы собирала. А когда на мирное производство перешли, послали в цех легковой машины. И там — до пенсии.

Сколько же надо было этой женщине проявить мужества и воли! Как крепко надо было держаться, чтобы жизнь не согнула. Одного сына убили, когда ему было двадцать, и второго тоже в двадцать. Получала похоронные, плакала, а утром вставала чуть свет, шла на завод собирать автоматы для фронта. Работала по полторы смены.

— А когда беда, сердце так чувствовало! — говорит Мария Николаевна. — Но это у каждого. У Саши тоже. После того как его убило, спустя несколько месяцев, приходил к нам один майор на протезе. Он ногу потерял в том бою. Был вместе с Сашей на наблюдательном пункте. Го-

рячая, говорит, была схватка, очень горячая. Потом потише стало. И тут Саша с ним поделился: «Что-то у меня сегодня с утра сердце болит... А ведь никогда не болело». А тот ему: «Ты поди отдохни немного». И только он отошел — снаряд разорвался. И осколок — Саше в голову...

Слушаю Марию Николаевну, а из головы не выходят только что прочитанные слова из писем Александра: «...Я скоро отомщу за смерть Лешки. Я расплачусь за него... вступил в члены ВКП(б)... звание большевика оправдаю...»

И он отомстил! Он расплатился! И звание коммуниста, большевика оправдал!

А потом зазвенел звонок, радостный, веселый. Мой неизвестный собеседник задал мне несколько контрольных вопросов:

— Вы учились в пятой спецшколе?

— Да.

— Как называлось в спецшколе время после шести?

— Комендантский час.

— Сколько новых слов требовала Синицина?

— Сто.

— Что говорил физик Брагин, когда он нами был недоволен?

— Павел Федорович говорил: «И что вы тут сидите? Только занимаете место тех патриотов, которые сюда не попали. Учтите, нам нужна настоящая военная интеллигенция...»

— Проверка окончена. Я Володя Щеглов. Сегодня в восемнадцать ноль-ноль ты должен быть у памятника Ленину в Лужниках. Форма одежды — летняя, парадная!

Долго-долго в Москве стояла жара, не упало ни одной дождевой капли, и вдруг ровно в шесть часов вечера грянул гром и на Лужники обрушился ливень.

А у памятника Ильичу обнимались под дождем военные и штатские — собиралась «особая батарея» бывших спецшкольников, та батарея, обращаясь к которой в первый день занятий, директор школы И. С. Арцис говорил:

— Все вы тысяча девятьсот двадцать четвертого года рождения. Добрая половина из вас — Владимиры... Учи-

тесь, старайтесь!.. Пройдет время, и по вас, по делам вашего поколения будут судить о поступи дел Ильича...

Многие из нас не видели друг друга двадцать пять лет. Кто поседел, кто полысел. А глаза у всех те же. Глаза таганских мальчишек.

Галдели, вспоминали, кто в прошлом чем «отличился», какая у кого была кличка, слышались вопросы вроде такого: «Слушай, а ты химию тогда все-таки пересдал?»

Это уже не под дождем, а чуть позже — за банкетным столом.

Только однажды наступила тишина. Встали настоящие и бывшие офицеры и почтили минутой молчания память тех, кто не вернулся с войны.

«Помнишь Жору Амелина?» «Помнишь Лешу Куликова, запевалу нашего?..» «Помнишь?..» «Помнишь?..»

Много раз в этот вечер звучало «помнишь?» и за ним: «убит».

...Разговор поначалу шел о мелочах, о курьезах.

Владимир Щеглов вспомнил февральский день 1942 года, когда школа находилась в эвакуации в Ишиме.

— Я относил в этот день на почту письмо Сталину, чтобы наш четвертый взвод немедленно отправили на фронт. Письмо подписали двадцать три «спеца». Когда работница почты стала регистрировать мою заказную депешу и прочла адрес, спросила: «Что у вас, в вашей школе, случилось? Это за сегодняшнюю смену пятое письмо Сталину от ваших учеников...»

Через несколько дней майор Керемецкий выстроил наш взвод и два часа гонял по плацу. Мы сначала терялись в догадках, чем вызвана такая немилость. Потом майор остановил взвод, походил перед строем и четко, чеканя каждое слово, произнес:

— ...Объяснить курсантам четвертого взвода, что коллективные жалобы и коллективные обращения в армии не положены... Когда придет время, их позовут выполнять свой долг перед Родиной...

До нас, конечно, сразу дошло, откуда эта цитата. Самого ответа нам не показали: он был адресован не нам, а командованию.

А Анатолий Можаев вспомнил, как он вместе с Михаилом Гориным прибыл на Ленинградский фронт.

— Офицер отдела кадров штаба фронта — у него были петлицы артиллериста — решил устроить проверочку наших знаний, как быстро и точно мы умеем готовить данные артстрельбы. Давал упражнения, которые ему самому были посильны, на глазомерную подготовку. Ерунду. Одно упражнение, второе, третье... Мы писали и отдавали ему листочки бумаги со своими расчетами. Когда мы выполняли четвертое упражнение, я скосил глаза на листок Горина и заметил, что на нем вместо цифр — слова. Миша что-то писал.

«Готово?» — спросил офицер. Взял листок Горина, побагровел, стукнул кулаком по столу, закричал: «Марш! В аэростатный дивизион! На колбасу подвешу!»

На столе лежал горинский листок, и я прочитал: «Надоело мне решать эти примитивные задачки. Лейтенант Горин».

А нам, тем, кто был послан на Юго-Западный, тоже припомнился штаб фронта — белая хатка отдела кадров.

...Мы сдали свои пакеты и ждали у крылечка назначения. Вынесли стандартные бумажки. Серенькие, полупрозрачные, чернила на них расплылись. На бумажках написано: «3-я танк. армия».

Неподалеку, в придорожных кустах устроили летучее совещание.

— Что же получается, ребята, а? Мы окончили училище с отличием и рекомендованы в гвардию. Других, которые без отличия, послали в 3-ю гвардейскую армию, а нас — в 3-ю танковую. Там, наверно, и калибра-то нашего нет — одни иптапы (истребительно-противотанковые артполки). А тогда зачем нас специализировали на тяжелых системах?

Что такое танковая армия и какова в ней роль артиллерии, мы понятия не имели.

— Поехали в 3-ю гвардейскую! Бумажки у нас дрянные, чернила расплылись, кто разберет «танк» или «гвард»?

И снова голосовали на дорогах, и опять перед нами белая хатка отдела кадров — на этот раз 3-й гвардейской армии.

Сердца у всех колотились: погонят. И... не погнали.

Гвардейцем, правда, я не стал: полк был не гвардейский. Но я был очень доволен, что оказался в нем.

Юрий Королев поведал о том, как он поступил в

спецшколу. Этой подробностью своей биографии он никогда раньше не делился.

— Военным я стать не собирался. Тем более говорили: не пройду по росту. Я был самым маленьким из ребят. Но в нашем седьмом классе все мальчики подали заявления в спецшколу. И уже по первому туру сдавали вступительные экзамены. В общем, выяснилось: я остаюсь с девчонками один. С этим я смириться не мог. И тоже подал заявление. Приняли. А многим из тех, кто подал раньше меня, отказали.

Так невысокий веснушчатый, полнощекий паренек со спокойной добродушной улыбкой стал военным.

...Тогда заявления в военные школы подавали целыми классами!

Юрий Королев был на фронте под Красным Лиманом и на Миусе, участвовал в Ясско-Кишиневской операции, в освобождении Болгарии, Венгрии, Югославии и Австрии. Начал со взвода, а потом был помощником начальника оперативного отдела штаба артиллерии фронта. Молодой офицер отличился во многих боях, радовался, когда ему вручали правительственные награды, и грустил, когда приходилось лежать на госпитальных койках. А на госпитальную койку Юрий попал вскоре после того, как оказался на фронте. На НП разорвался снаряд. Командира батареи убило. А Королеву осколок от снаряда попал в широкий и толстый поясной ремень. К тому же ремень был сложен вдвое. Осколок пробил его, но силу уже утратил. Я видел этот ремень, спасший жизнь молодому лейтенанту. Юрий Иванович хранит его как память о первых боях.

Сейчас Юрий Королев — полковник-инженер. Живет в Москве, на улице Горького. Как мы раньше не встретились?!

Дома в его рабочем кабинете висят два больших портрета: его отца, генерал-полковника войск связи И. Ф. Королева, и отца его жены Нины — генерал-полковника С. Н. Переверткина. 79-й стрелковый корпус, которым командовал генерал Переверткин, брал рейхстаг.

...Одним из офицеров, воевавших в составе корпуса генерала Переверткина, был Владимир Попов. Попов учился

в спецшколе вместе с Юрием Королевым и мной в одной и той же батарее.

Его фронтовая география — Мга, Новгород, Нарва, Псков, Полоцк, Варшава, Берлин.

Первый боевой орден Попов получил за форсирование реки Дриса. Пушки через реку тащили под огнем противника на себе и с ходу — в бой.

Первый орден и первое ранение. Тяжелое ранение: в ногу и руку.

А на Берлин Володя Попов шел на танке, на тридцатьчетверке.

Вызвали в штаб, сказали: «Бери радиостанцию и иди к танкистам. Будешь корректировать из танка огонь артиллерии».

Вечером перед наступлением пришел к тридцатьчетверочникам. Те обрадовались: «Значит, поддержка будет? Выбирай себе любой танк, какой нравится, и утром пойдем вперед...»

Шли в бой на последние вражеские твердыни советские танки, и в одном из них сидел недавний «спец», передавал по радио команды товарищам — артиллеристам.

После взятия Берлина Попов учился в высшей офицерской школе, в артиллерийской академии.

Встречу с ним мне устроил Юрий Королев, с которым они одно время вместе работали. Позвонил по телефону:

— Запиши координаты еще одного «спеца»: полковник-инженер Владимир Попов... Владимир, а не Вячеслав.

...А был и Вячеслав Попов, и с ним я уже встречался. И знаю о том, что на фронте судьба его не очень хранила: шесть раз ранен. И каждый раз из госпиталя возвращался в строй. Войну закончил в Праге. Демобилизовался. Сейчас работает главным инженером проекта института «Мосинжпроект», занимается подземным хозяйством нашей столицы.

Молодого лейтенанта назначили командиром метеостанции фронта. Взвод службы погоды не блистал бравыми гвардейцами: пять девушек, пять стариков, несколько солдат, прибывших из госпиталей.

Составление метеосводок лейтенанта не увлекало, и спустя некоторое время он добился другой должности —

стал командиром взвода разведки командующего артиллерией 68-й армии.

Когда он появился на наблюдательном пункте командующего генерал-майора Ю. М. Федорова, была бомбежка, над головой летали «юнкерсы», с потолка блиндажа сыпался песок.

Генерал, осмотрев худого юнца, почему-то спросил:

— Лейтенант, вы не голодны?

— Нет.

— Может, бутерброд съедите?

— Спасибо.

— А сколько вам лет?

— Восемнадцать.

Генерал сделал паузу и горестно-задумчиво заметил:

— Боже мой, неужели детей на фронт стали присылать?

А через несколько месяцев генерал вручил тому же лейтенанту первую боевую награду — орден Красной Звезды.

Вручение награды случайно совпало с драматическим моментом, когда противник выбросил в районе НП воздушный десант. Едва привинтив к гимнастерке орден, лейтенант схватил автомат и бросился с товарищами на ликвидацию парашютистов.

Второй орден он получил в Восточной Пруссии, а третий — далеко на востоке, во время войны с японскими милитаристами.

Перейдя границу, он со своим взводом отрезал пути отступления одному из подразделений противника и первым на этом участке фронта взял пленных — японцев. Потом дошел до Гирина.

Я рассказал о боевом пути Владимира Щеглова, ныне подполковника-инженера, старшего научного сотрудника одного из институтов.

Лейтенанта, окончившего Одесское артучилище, «подвесили к колбасе» — назначили в воздухоплавательный дивизион артиллерийского наблюдения.

На вооружении дивизиона были аэростаты, привязанные тросами к лебедкам. Лебедки находились в хороших, прочных убежищах, но тот, кто сидел в корзинке аэростата на высоте 800 метров, представлял собой беззащитную мишень.

Едва аэростат поднимался, как противник открывал огонь бризантными снарядами.

— Семь — восемь разрывов еще можно было вытерпеть. Потом приходилось спускаться, — рассказывает бывший лейтенант. — Работал «уколами»: неожиданно поднимался и в течение пятнадцати — двадцати минут корректировал огонь артиллерии. С аэростата — все как на ладошке. Видна передовая, видны глубокие тылы. Громили артбатареи противника, однажды уничтожили артиллерийскую железнодорожную установку. Это было под Ленинградом. Там, под Ленинградом, мне пришлось подниматься в воздух около шестисот раз.

Воевал аэростатчик-артиллерист под Псковом, на Карельском перешейке и в Восточной Пруссии. И так однажды увлекся боем, что в Росток въехал на машине с лебедкой, когда в этот город еще не вступила пехота, а на базаре шел обычный торг. Лебедку сопровождала другая машина, вооруженная счетверенной пулеметной установкой. Появление этих машин породило панику — укрытую брезентом лебедку приняли за «катюшу». Но потом подоспели немецкие солдаты, открыли огонь. Пришлось принимать бой.

В воздухоплавательной части офицер служил до тех пор, пока не поступил в академию. Ныне он полковник-инженер и зовут его Анатолий Можаев.

Только после рассказа Можаева я вспомнил, что однажды, много лет назад, я встретил на трамвайной остановке Михаила Горина. Он был в военной гимнастерке без погон. Под ремень, как у школьника, засунуты учебники.

Он опаздывал на занятия в институт.

— Тоже демобилизовался? — спросил я.

— Ага. После того как с колбасы упал. Сбили меня, гады...

Подошел трамвай, Миша бросился вперед и уже с подножки прокричал свой адрес. Но я не разобрал, не расслышал из-за шума проезжавшего мимо грузовика.

Больше я его не встречал. Но теперь я представляю, в каких обстоятельствах «упал, сбили». И знаю о том, что в штабе фронта ему «надоело решать эти примитивные задачки» и его послали в воздухоплаватели.

Я хорошо понимаю причину возникновения обидной для офицера отдела кадров записки. В спецшколе по точным наукам — математике, физике, химии — Миша Горин преуспевал, был отличником. Причем без всякого труда. Организованностью и усидчивостью он не отличался, был довольно бесшабашным и в часы самоподготовки, когда другие сидели за учебниками, Горин отбивал чечетку. И достиг в чечетке такого класса, такой быстроты, что каблуки его стучали во много раз чаще, чем скорострельный пулемет. Это был даже не стук, а жужжание.

И когда Мише дали решать примитивные задачки, его академическая гордость была уязвлена.

...А Владимир Простаков ходил «с крестом» на рукаве. Он попал в истребительно-противотанковый полк. У истребителей танков на рукавах были черные нашивки и на них скрещенные орудийные стволы.

Воевал Простаков на том же фронте, что и я, — на Четвертом Украинском. Наши пути, оказывается, много раз пересекались.

Его полк входил в подвижную группу. Такие группы состояли из полка пехоты на виллисах, танковой бригады, истребительно-противотанкового артполка и дивизиона эрэс — «катюш». Прорывали оборону и устремлялись в тыл противника, сокрушая на своем пути все встречное.

Еще раз вспоминается мне та бесконечная дорога в Прикарпатье, где на протяжении многих километров — сброшенные в кюветы танки и самоходки, перевернутые повозки, крики раненых, вереницы бредущих в плен, взорванные склады, горящие дома крохотных деревенек, развеянные ветром бумаги немецких штабов, трупы, трупы... И тяжелый смрад в воздухе. Начинается ливень, и так все вокруг разогрето-раскалено, что дождевая вода превращается в пар. Трактористы включают фары...

— Во время одного из таких рейдов, — рассказывает Владимир Простаков, — мы заняли железнодорожную станцию. Пришел немецкий поезд, который привез подарки гитлеровским офицерам. Охрану поезда мы тут же сняли и в честь победы чокнулись подарочным французским

шампанским. С тех пор, когда пью шампанское, всегда вижу эту станцию... Но приходилось нам очень горячо. В бою под Бельско, в Карпатах, немцы пошли в контратаку. Убило командира батареи «катюш», и обстоятельства сложились так, что мне пришлось заменить его и управлять огнем эрэсов. После нескольких залпов, которые я корректировал, мы получили возможность прорваться в город.

Слушаю рассказы товарищей и думаю: у каждого на войне был один знаменательный бой, такой, что все предшествовавшие — всего лишь подготовка к нему, репетиция. У каждого была наивысшая точка, которая требовала неведомого ранее напряжения ума, воли — всех сил. Словно и жил ты только для того, чтобы выдержать именно этот экзамен. А длится он порой всего несколько минут. Несколько минут — и вся жизнь... И чем эти минуты окончатся, зависит только от одного тебя. Часы бьют твое время. Оно пришло неожиданно. Оно приходит неожиданно всегда, и никто не знает, когда судьба и история повернутся к тебе, глянут в упор и спросят: «Ну, что ты можешь?»

В том случае, если экзамен не выдержишь, плати честью, именем, а очень возможно, и жизнью. Переэкзаменовки не дается. Ты хорошо готовился к этому испытанию?

«Спецы» начали подготовку еще до войны, в те мирные дни, когда школьную или лагерную тишину вдруг разрезали, разбрасывали в стороны частые-частые беспокойные звуки сигнальной трубы: «Тревога!» В те дни, когда майор Керемецкий объяснял: «Если противник окружил ваш наблюдательный пункт, будьте артиллеристами до последнего: вызывайте огонь на себя!» А преподаватель математики доцент Иринарх Петрович Макаров учил: «В решительные моменты вам всегда будет недоставать времени. У вас должна быть быстрая математическая реакция...»

Для Владимира Простакова наивысшей точкой был бой под Бельско.

...Наша атака угасает, задыхается, удары начинает наносить противник, по мосту через горную речку идут его подкрепления. Нужен массированный удар. Иначе нашим

не выстоять, выдвинутые вперед по ущелью огневые точки и НП будут смяты.

Падает снаряд. Командир батареи эрэс убит. Кричат:
— Есть тут артиллеристы?!

Есть. Один молодой лейтенант. Бери, лейтенант, карту и планшет убитого... Вся надежда только на тебя. Они идут... Найдешься, сумеешь?

Сумел! И бой перевалил за критическую черту...

— Володя, а как ты все-таки справился с эрэсами?

— Они были в нашей группе. Подружился с офицерами. Интересовался, чем их стрельба отличается от нашей. Остальное, как говорил Макаров, математическая реакция.

Помощник начальника штаба полка по разведке Владимир Простаков закончил войну в Праге. Служил в Германии и на Дальнем Востоке.

Когда я позвонил полковнику-инженеру Простакову, приглашая его к себе в гости, то попросил: «Захвати самое дорогое, что сохранилось у тебя от давних времен».

Он привез книгу «Курс теоретической механики. Часть первая. Статика. Кинематика». На книге надпись: «Тов. Простакову В. В. от командования 5-й Московской артиллерийской школы за проявленные исключительные способности в области математических наук и самостоятельную разработку научной темы. 11 июня 1942 года».

Простаков был одним из тех, кого мы называли фанатиками-математиками, и, оказывается, они вместе с Борисом Федотовым еще в девятом классе сдали математику за десятый.

Вот почему на уроках Борис читал «посторонние» книжки — это были вузовские учебники.

Школа находилась тогда в Ишиме, и доцент Макаров брал Простакова и Федотова с собой на вечерние прогулки.

Шли неширокими ишимскими улицами, по деревянным кладям, которые проложены вместо тротуаров. Клади высокие. Когда идут дожди, под ними вода.

За городом река и степь.

Тут и пролегали маршруты вечерних прогулок. Во время прогулок Макаров вел со своими учениками беседы на

научные темы. Часто останавливались, чертили прутиком на снегу или на земле геометрические фигуры, формулы.

После того как сдали выпускные экзамены, оставалось свободное время до отъезда в училище. Многие ребята ездили в Омск, в Петропавловск. Петропавловск близко, тоже на Ишиме. Это Казахстан.

...А мне с Владимиром Смолянкиным начальство дало командировку по районам Сибири, и в нашу задачу входило подталкивать заготовку дров местными организациями для армии и военных училищ.

Ехали на попутных по Сибирскому тракту. Около двухсот километров отшагали пешком. По дикой тайге. Переправлялись через речки на лодках-долбленках.

Во время одного из переходов попали в открытом поле под грозу. Такого буйства ветра, воды и электричества мы в своей жизни еще не видели. Потом долго стучали зубами у костра.

Двухнедельное, полное приключений путешествие по весенней, пряно пахнущей, поющей тайге — это ли не врежется в память на всю жизнь! За спинами рюкзаки, в планшетах карты, в руках компасы, в кобурах наганы. И очень весело на душе. Спецшкола окончена, скоро в училище. Мы даже боялись, как бы товарищи без нас не уехали.

В училище мы со Смолянкиным виделись редко: он был в другом дивизионе.

...И вот год 1969-й. Мы говорим по телефону. Наша встреча несколько раз откладывается: Володя готовится к защите диссертации. «Лучше уж говорить, когда все будет за плечами!»

В июне Смолянкин приехал ко мне домой и рассказал, что с ним произошло с тех пор, как мы расстались.

Он получил направление в 395-й гаубичный полк, которым командовал майор Заливакин. Это было под Старой Руссой.

Объяснили, как пройти в штаб полка. Шел, шел по дороге, потом пересек поле, луг, увидел лес, посеченный артиллерией, и вдруг кричат:

— Лейтенант, стой! Ни шагу! Ты стоишь на минном поле!

Оказалось, кричали связисты из пехоты.

— Стойте! Мы сейчас выведем вас по проводу...

Везде были видны следы недавнего боя. На земле валялись каски, оружие. Благополучно выведенный с минного поля, Смолянкин выбрал себе новенький парабеллум и прошел с ним потом всю войну.

Володя получил топографический взвод, потом был командиром шестой батареи, а с начала сорок пятого — начальником разведки полка.

За топографические подвиги получил орден Красной Звезды. Может, кто и улыбнется, прочитав: за топографические подвиги. А улыбаться не надо.

...Вокруг — однообразные болота. Местность серенькая, бесприметная. Определить на ней координаты батарей и НП нелегко. И опасно ходить по кочковатой равнине с топографическими приборами: всегда на виду. А Смолянкин прошел не только по боевым порядкам артиллеристов, но и прополз по переднему краю, нанес его на планшет, чтобы полк точно бил по противнику и не задел своих.

Такой у него был вступительный экзамен.

— Наступали на Ригу, — рассказывает Смолянкин, — ночью заняли высотку, а когда рассвело, то оказалось, что местность с высотки просматривается хорошо. Километрах в полутора от нас двигалась колонна противника — грузовики, повозки. Я сначала навесил над дорогой бризантный. Очень любил бризантными стрелять! Потом начал долбить перекресток всей батареей. Хорошо вышло. Частью уничтожили, частью рассеяли. За это получил орден Отечественной войны.

Третья награда Володи — орден Александра Невского.

...Полк был на марше, наступали. Помощник начальника штаба полка по разведке взял с собой несколько бойцов, радиста и ушел вперед.

Преследовали противника вместе с пехотой, участвовали в боях как стрелки.

Связывались с полком по рации, но он был еще далеко и огнем помочь не мог.

8 мая увидели над немецкими окопами и на стволе танка белые простыни. Тихо. Стрельбы нет.

Капитулируют?

— Самочувствие необычное: со мной всего несколько человек, немцев более двухсот. Вылезли из окопов, под-

няв носовые платки. Еще вчера они отчаянно бились с нами, не давали головы поднять. А может, хитрят? Хотят нас выманить? От гитлеровцев всего можно ожидать. Так долго длилась война, что даже не верится теперь: капитулируют. Поднялся, крикнул: «Бросай оружие!» Стали бросать. Мы подошли к этой толпе с автоматами наизготовку. От нее отделился обер-лейтенант. За два шага от меня остановился, полез в кобуру, достал пистолет и отдал его мне. Спросил, что им теперь делать. Я говорю: «Стройтесь в колонну, отведу вас к дороге. Будете сидеть под охраной автоматчиков и ждать...» Соединился по рации с полком, сообщил, что гитлеровцы капитулируют, а там мне не верят. А я говорю: «Что же вы не верите? Я сам принял их капитуляцию. У меня больше двухсот пленных. Приезжайте». Это был для меня самый необычный день войны.

Кроме наград в память от войны остался у Володи осколок в ноге. Ранен он был трижды. Первый раз — в ногу. С забинтованной ногой догнал свой полк. Потом — ранения в лицо и в голову. Он рассказывал:

— Тащили из головы осколок без наркоза. Я весь мокрый, болью оглушенный, а хирурги долбят кость и приговаривают: «Потерпи, потерпи. Не надо бояться. Это только паникеры говорят, что хирурги — звери».

После войны Смолянкин демобилизовался, учился в МИФИ, аспирантуре, ныне он работает в институте теоретической и экспериментальной физики.

Володя пришел ко мне, как и договаривались, «на следующий же день, как все оказалось за плечами». А за плечами была защита диссертации на звание доктора физико-математических наук. Область изысканий ученого — физика высоких энергий.

Мне посчастливилось поздравить Смолянкина одним из первых. А потом пришло поздравление от бывшего командира 395-го артиллерийского полка Николая Дмитриевича Заливакина. Он живет в Симферополе, пенсионер. Фронтовая дружба двух офицеров не остыла. Заливакин и Смолянкин переписываются, бывали друг у друга в гостях. И часто во время таких встреч вспоминал Володя свой родной полк, дорога к которому лежала для него через минное поле...

Со своим бывшим начальником — командиром диви-

зиона Павлом Петровичем Ковалевым дружит Евгений Строганов. Тоже навещают друг друга, вместе проводят отпуска.

П. П. Ковалев — Герой Социалистического Труда, директор совхоза.

А Евгений Строганов, учившийся в спецшколе в соседнем взводе, — генерал-майор артиллерии.

До недавнего времени он был начальником артиллерийского училища, позже получил новое назначение.

Я приезжал к нему в училище, он знакомил меня с тем, как живут и учатся курсанты. Показывал стрелковый полигон, строительство физкультурного комплекса, новую, только что заселенную казарму, к которой мрачное слово «казарма» никак не подходило: это дом в несколько этажей, светлый, с широкими окнами и элементами стиля модерн. Он похож на хорошую современную гостиницу или на конструкторское бюро.

После экскурсии по училищу вернулись в кабинет, и Евгений ознакомил меня с макетом будущей застройки училища — с макетом небольшого красивого зеленого городка.

Показывал альбомы, в которых запечатлена история училища, рассказывал о том, как совершенствуют в училище формы и методы воспитания курсантов, как торжественно перед строем вручают новичкам погоны старшекурсники, как приезжают родители благодарить преподавателей за своих сыновей, какие трудные порой бывают ребята и как они меняются.

Говорил Евгений горячо, увлеченно. Я слушал рассказ умудренного большим опытом профессионала, человека, одержимого своим делом, своей работой.

Я вспомнил, как о себе говорил командир нашей бригады полковник Миронов: «Я потомственный профессиональный военный!»

Свой рассказ генерал-майор артиллерии Евгений Строганов закончил словами:

— Ну как? Нравится тебе мое хозяйство?

Хозяйство мне очень понравилось!

Потом разговор продолжался уже дома у Строганова. Он занял вечер, половину ночи и почти весь следующий день.

Следующий день был воскресным, но Евгению на час — полтора пришлось отлучиться в училище. Я сидел один, листал книги его большой библиотеки, рассматривал фотографии тех лет, когда он был на фронте, служил в частях, учился в академиях. И еще разглядывал картины на стенах. Автор картин — Евгений. Живописью он занимался еще в спецшколе.

А когда Строганов вернулся, то показал мне письма с фронта, карты с нанесенными на них батареями, НП, передним краем, боевые трофеи, среди которых — кусок колонны рейхстага.

1 сентября 1939 года, когда мы пришли в спецшколу, началась вторая мировая война. В начале мая 1945 года бывший «спец», прошедший фронты и бои, положил в полевую сумку кусок рейхстага, отбитый осколком снаряда. И, возможно, снаряда его, строгановского.

...Листаю старую ученическую тетрадку, на обложке которой вместо названия школьного предмета написано: «Боевой счет». Хозяин тетради отчитывался в ней за каждый день, прожитый на фронте.

«10 июля 1943 г. — уничтожен пулемет (д. Стайки); 12 июля — уничтожена грузовая автомашина; 17 ноября — подавил огонь артбатареи; 8 марта — подожжены два танка; 9 марта — разбиты два дота; 3 апреля 1944 г. — отбито три атаки фашистов, уничтожено до роты солдат; 14 июля — подавил огонь артбатареи...»

Читая эти записи, Строганов вспоминал свой первый НП, который находился на дереве, на болоте; рассказал, как входил в горящий Брянск, как отражал психическую атаку гитлеровской офицерской школы под Владимир-Волынском, как бились артиллеристы отдельного истребительного дивизиона, в котором он был начальником штаба, с фашистами, устроившими на дороге артиллерийскую засаду.

Гитлеровцы установили скорострельные пушки, замаскировались и, когда колонна дивизиона, находившегося на марше, подошла к ним, открыли огонь.

Шквал огня был сильным. В колонне возникла сумятица, бойцы разбежались по кюветам.

Машина, в которой ехал начальник штаба, вспыхнула: снаряд угодил в мотор и бензобак. Орудие, прицепленное к машине, завалилось набок.

— В эти минуты я думал только об одном: надо дать первый выстрел, — рассказывает Строганов. — Он органи-

зует людей, вовлечет их, растерявшихся, в бой. Вместе с четырьмя солдатами поставил перевернувшуюся пушку на колеса. После первого нашего выстрела заговорили и другие орудия дивизиона. Это была уже артиллерийская дуэль, а не расстрел попавшейся в ловушку колонны. Засаду мы в конце концов разбили.

— Женя, не эти ли жаркие минуты были самыми критическими для тебя на фронте?

— Нет. Главным боем я считаю другой. Он произошел недалеко от Франкфурта-на-Одере. Командир дивизиона Ковалев уехал в госпиталь: открылись старые раны. Командование перешло ко мне. Перед нами был пункт, который на карте обозначен «Господский двор Клессин». Принадлежал он, как потом выяснилось, барону, отставному военному. Оборонявших этот пункт возглавил сам хозяин имения. И держались здесь гитлеровцы очень крепко. Атакой в лоб имение взять не удалось. Решили его обойти с флангов, окружить. Но едва пехота начинала продвигаться, как ее оттесняли на исходные позиции немецкие танки и самоходки. Подошли наши танки, но их было немного. И мы решили бросить вперед артиллерийский десант. Каждый танк брал на крюк орудие и шел в наступление. Потом он останавливался и, пока стоял на месте, прикрывая собой артиллеристов, те отцепляли орудие, разворачивали, приводили в боевое положение. Танк отходил, а расчет, оставшись один на один с противником, начинал бить прямой наводкой. Так я выбросил вперед три батареи. Операция была рискованная. Но я знал, что расчеты не растеряются, будут бить точно. Мы выдержали поединок с немецкими танками, семь штук подожгли, кольцо вокруг Клессина сомкнулось, и барону в конце концов пришлось капитулировать. Этот бой был самым тяжелым, самым напряженным, и все тут зависело прежде всего от нас, артиллеристов, — сумеем ли мы отсечь вражеские танки в то время, как наша пехота дралась сзади...

Генерал заканчивает рассказ и добавляет:

— Орден Красного Знамени — это у меня за Клессин.

Встретил я и Бориса Федотова.

После училища он попал на Калининский фронт, на должность адъютанта командующего артиллерией армии.

Но по характеру Федотов совсем не адъютант, и вскоре он добился перевода в полк. Был командиром огневого взвода, потом перебрался на передовую — принял взвод управления, командовал взводом разведки. Несколько месяцев лежал в госпитале: осколочное ранение в левую лопатку. Разрыв снаряда прямо в окопе.

Вернувшись в строй, участвовал в уничтожении гитлеровских дивизий под Либавой — в составе штурмовой группы. Бил немецкие танки, доты.

Войну окончил с тремя орденами. Учился в академии, потом в адъюнктуре.

Я спросил:

— Мне говорили, что еще и в МГУ?

— Ну, это параллельно. Шел по Моховой, увидел: объявлен прием на физмат, на вечернее отделение. Сдал экзамены. Сначала вступительные, потом «госы».

У Федотова всегда, сколько я его знаю, все очень просто: «Шел... увидел... сдал...»

— Наверно, перезачитывал многие предметы? — спросил я.

— Ни одного. Хотел на первом курсе сделать перезачет. Взял свою академическую книжку с отметками. Пришел к преподавателю. Сказал, зачем пришел. Он — вопрос: «Значит, вы все знаете?» — «Знаю». — «А если знаете, чего вам бояться? Тяните билет...» Больше я перезачитывать ничего не просил. Так что скидок не давали. И курсовые выполнял, и над дипломом сидел. И очень доволен Московским университетом остался.

Борис Федотов — полковник-инженер, автор многих научных работ, доктор технических наук, профессор, начальник кафедры в академии.

...Зимой сорок второго, когда спецшкола была в Ишиме, произошло ЧП: учащийся нашего взвода Владимир Рычков, возвращаясь из караула, выбросил в снег пять боевых патронов.

Сказал, что потерял.

Это произошло в тот день, когда он получил из Москвы телеграмму, что его отец погиб на фронте.

— Где патроны? — спрашивал старший политрук Сергей Александрович Поляков.

— Я же сказал: потерял.

— В каком месте?

— Не знаю.

— Оставьте свое «не знаю»! — кипятился Поляков. — Вы думаете, я не догадываюсь, для чего вы это сделали? Хотите, чтобы вас отчислили из школы, судили и отправили на фронт? Но поймите: на фронт с позором не идут! И знайте: всем останется, всем достанется! Где патроны?

— Не знаю.

— Я должен буду подать рапорт о вашем поступке...

— Подавайте.

— А я не подам... Я подниму сейчас батарею и прикажу учащимся найти ваши патроны.

Так он и сделал. Мы искали эти патроны долго. Руками перебирали снег, целые сугробы, и во время этого занятия к Полякову подошел офицерский патруль из гарнизона. Командир патруля поинтересовался:

— Что тут происходит?

Сергей Александрович ответил:

— Часы обронил один курсант. Товарищи ищут...

Все пять боевых патронов были найдены.

...Жив ли Владимир Рычков? Что с ним произошло? Как сложилась его судьба? Я искал с ним встречи. И она состоялась.

Владимир Рычков живет в Москве, в районе Сокола, в доме, который он сам построил. После войны он окончил архитектурный институт, проектировал дома на Октябрьском поле и в Ховрино, строил поселки, научные институты на Урале и в Казахстане и перестраивал здание... нашей спецшколы. Под больницу. Больница в нем расположена и поныне. А Рычков сейчас — главный специалист архитектурно-планировочного управления столицы.

— Володя, в сорок втором ты хотел, чтобы тебя немедленно отправили на фронт. Ты выбросил тогда в снег патроны. А старший политрук Поляков кричал: «Всем останется. Всем достанется». Что тебе осталось и досталось?

— В общем, порядочно. Два раза тяжело контужен. По госпиталям поваляться пришлось. После контузии пропал слух, лишился сна, слуховые галлюцинации появились. Вылечили. В сорок пятом демобилизовали, дали

третью группу. Но повоевать мне, несмотря на контузии, пришлось немало.

— На какой фронт ты попал?

— На Калининский. Весной сорок третьего. Солнце, лужи. Я иду по дороге к передовой, вижу: солдат убирает трупы с обочин. Они вмерзли в землю. Он обвязывает их веревкой и выдергивает из земли с помощью лошаденки... Пришел в дивизион — там обед, меня угощают. А я есть ничего не могу. Потом возник бой, и у меня появился аппетит. Служил я в 270-м пушечном артполку.

— Ты попал в этот полк один или с кем-то из наших?

— Вместе с Володей Пысиным и Лешей Куликовым.

— С Лешей Куликовым, с запевалой? Мне говорили, что он убит...

— Убит. На моих глазах, сидели в одном блиндаже... Я сам хоронил его, сам катил на его могилу валун. Это было в Литве, близ мызы Приекуле. Несколько лет назад я был там, искал могилу Куликова — не нашел, убрали валун. Память меня подвести не могла. В Латвии, километрах в тридцати от Либавы, я нашел нашу бывшую траншею. Стала мелкой-мелкой. И старую иву, посеченную осколками, разыскал. Это все места, о которых много можно вспомнить. Был я тогда начальником разведки дивизиона...

А нашего старшего политрука, ныне гвардии полковника запаса С. А. Полякова, я тоже встретил: навел справки, узнал, что он живет в Симферополе, и поехал к нему в гости.

Мы расстались с Сергеем Александровичем летом сорок второго — двадцать семь лет назад. Смотрю на него — такой же энергичный, бравый, подтянутый.

Пришел ко мне в гостиницу с работы, и мы отправились к нему домой.

Я узнал, что его боевой путь пролег от Киева до Берлина. Служил заместителем командира полка гвардейских минометов — «катюш», заместителем командира отдельного артдивизиона. Из армии уволился в запас, будучи секретарем партийной комиссии дивизии. Имеет много наград — орден Красного Знамени, два ордена Отечественной войны, две Красных Звезды. А в старой папке в книжном шкафу хранятся листочки с благодарностями за

взятие Варшавы, Штаргарда, Штепельнитца, Дойч-Кроне, Наугарда, Польцина.

Сидели мы с Сергеем Александровичем, вспоминали давнее, но не ушедшее. Оно никогда не уйдет! Тем более для меня. Поляков был первым моим командиром, первым любимым командиром. Я работал под его началом, будучи секретарем комсомольской организации спецшколы, к нему я шел за советом, у него учился, и роднее его рядом никого для меня не было.

Зимой 1942 года в Москве умер мой отец. Сергей Александрович прочитал тогда телеграмму, сказал:

— Хочешь домой съездить? Деньги на дорогу туда и обратно дам. Без отдачи. Только путь из Сибири в Москву дальний. Сейчас особенно. На похороны не успеешь. Мать, конечно, обрадуется тебе, но ведь ты всего на несколько дней. Слезы при встрече, слезы при расставании. И занятий пропустишь много. Но смотри, решай сам.

Денег брать у Полякова я не хотел, тем более незадолго до того случайно узнал: летом 1941 года, когда лагерная библиотека вернулась вместе с нами в Москву, в ней обнаружили недостачу. Библиотека в лагерях была отдана на мое попечение. Картотеку я вел аккуратно, кому выдавал книги — записывал и понять не могу, почему эта недостача возникла. Деньги внес старший политрук. Мне об этом стало известно только несколько месяцев спустя, в Ишиме. И то не от Полякова.

Вспомнил я и о том, как ездили мы с Сергеем Александровичем в дальнюю зимнюю командировку в город Ялуторовск. Там находилась в эвакуации Московская военно-воздушная спецшкола. Мы с ней соревновались.

— Сергей Александрович, зимой сорок второго вы приказали нам искать в снегу патроны...

— А? Да-да! Сгоряча тогда бросил коренастый такой, крепкий парень. У него еще китель на шее не сходился... Рычков?

— Он.

— Не знаете, как он? Не встречались?

Тогда о судьбе Володи Рычкова я не знал. Увидел его позже.

Все «спецы», о которых я до сих пор рассказывал, — мои сверстники. Все из одной батареи. Все 1924 года рож-

дения. Все сдавали физику Павлу Федоровичу Брагину, который неустанно твердил: «Поймите, нам нужна настоящая военная интеллигенция».

...Мне позвонил Юрий Королев:

— Даю тебе координаты еще одного товарища. Он учился в нашей пятой спецшколе, но окончил раньше нас. О нем рассказано в мемуарах генерала армии Батова. Записывай: Бутылкин Виктор Васильевич, Герой Советского Союза, полковник-инженер, доктор военных наук...

Я взял книгу генерала армии П. И. Батова «В походах и боях» и встретил в ней фамилию Бутылкина в том месте, где повествуется о форсировании Днепра.

«...А сейчас еще одно свидетельство участника первого рейса — командира батареи Виктора Васильевича Бутылкина. Он действовал в десанте Кулешова как представитель второго дивизиона 118-го артполка. Вот, кстати, пример организации взаимодействия в подразделениях 69-й дивизии: второй дивизион начиная от Севска, как правило, поддерживал 120-й полк. Вместе прошли в боях сотни километров. Вместе форсировали Сев и Десну, бились на сожских плацдармах, и на Днепр они пришли спаянные опытом, личной дружбой и верой друг в друга».

В. В. Бутылкин вспоминает:

«...Весь участок реки задымлен. В лодке напряженное молчание. Только тяжелое дыхание гребцов. На носу пулеметчик изготовился вести огонь. Рядом со мной ефрейтор Колодий со своей рацией. Перевалили середину реки, ударил немецкий пулемет. Разорвался снаряд. «Надбавь!» — крикнул гребцам старший. Снова разрывы. Тонет соседняя лодка. Из лодки наши ведут огонь. «Рация, товарищ командир!» Ее разбил осколок снаряда. Колодий в крови, но он не чувствует ран, главная беда — как быть без радиостанции. На берегу взметнулись разрывы наших снарядов. Полегчало. Люди прыгают в воду и идут вперед... Впереди — мощная фигура Кулешова. Пригнувшись, на бегу строчит из автомата. Вышибли немцев из первой траншеи. Ворвались во вторую. Фашисты отходили. Наши товарищи так увлеклись преследованием, что комбату пришлось их остановить и возвратить несколько назад: «Откусили столько, что не проглотишь... Окапывайся!» — приказал Кулешов. Солдаты отрывали ровики, поправляли

траншеи. Знали — наличными силами нужно держаться весь день до темноты. Кто-то притащил пленного. Сунули в лодку и отправили на тот берег. И вот начались контратаки. Для корректировки огня у меня остались лишь сигнальные ракеты. Приходилось вызывать огонь артиллерии, рискуя и самим попасть под него, так как противник почти вплотную подходил к нам. Все, кто мог держать оружие, вместе отбивались от немцев, отразив за день больше двадцати контратак».

В книге генерала армии Батова на вкладке помещен портрет В. В. Бутылкина — молоденького лейтенанта с орденом Красной Звезды.

Когда мы встретились, я сказал Виктору, что о том, как он форсировал Днепр, уже прочитал.

Он ответил:

— Да, было такое дело. Чуть не скинули назад в воду. Но ведь не скинули!

Начал он войну с Сухиничей в сорок втором. Прошел ту лесенку, по которой прошагали на фронте многие «спецы»: командир топовзвода, начальник разведки дивизиона, командир батареи, начальник разведки полка...

В Белоруссии был ранен в живот и в позвоночник.

Долгие месяцы провел Виктор в госпитале, в строй вернулся в Германии.

Недавно бывший командир 69-й стрелковой дивизии генерал И. А. Кузовков пригласил Виктора в путешествие по местам боев. Взяли с собой старые карты и отправились в путь.

И еще раз был Герой Советского Союза доктор военных наук полковник-инженер Бутылкин на местах минувших боев — когда ветераны дивизии ездили на открытие памятника павшим при форсировании Днепра.

...В спецшколе шли экзамены. Преподаватель пригласил к столу ученика, предложил тянуть билет.

— Какая тема вам досталась?

— Бородинское сражение.

После подготовки ученик вышел отвечать. Говорил он нечетко, сбивался, и тогда преподаватель сказал:

— Я знаю вас как человека способного. Но, видимо, в последние дни вы были заняты чем-то другим, только не историей. Ставлю двойку. Экзамен будете пересдавать.

Пересдавать пришлось дважды. Первый раз через несколько дней, второй раз много позже.

...Шла зима 1942 года. Мела снегами, душила морозами. Лютовала над полями подмосковных сражений.

Наступая, части Красной Армии подошли к Бородину. И здесь, в районе Бородинского поля, разгорелись тяжелые бои.

В них участвовала батарея молодого лейтенанта, недавно окончившего артиллерийское училище. Наблюдательный пункт батареи находился в расположении пехоты, у самого переднего края.

Однажды вечером, когда огонь поутих, лейтенанта вызвали в штаб. Едва он вышел из траншеи и сделал первые шаги, как увидел лежавшего на снегу командира. Тронул его несколько раз рукой — тот в ответ только слабо простонал. Рядом с раненым чернела воронка от снаряда.

Лейтенант взвалил раненого на спину и понес в тыл. Шел, увязая в глубоком снегу. Несколько раз ложился: пережидал немецкие артналеты.

Потом поднимался и снова шагал, шатаясь от усталости. Шагал три километра, пока, наконец, добрался до леса, где раскинул палатки медсанбат.

Лейтенант вошел в одну из палаток, бережно опустил раненого на скамейку и только тут, при свете «летучей мыши», увидел его лицо. Знакомое лицо.

Батальонный комиссар, которого он принес с передовой, был тем преподавателем, который некогда поставил ему двойку на экзаменах.

Комиссар на несколько минут открыл глаза.

Они узнали друг друга.

Лейтенант отправился в штаб, потом вернулся в медсанбат и до рассвета сидел у постели раненого. Батальонный комиссар лежал без сознания. Не вернулось оно к нему и утром, когда лейтенант уходил в бой, в Бородинский бой.

Надевая шапку, лейтенант сказал медсестре:

— Вы уж посмотрите... Очень прошу... Скоро в госпиталь отправите?

— Это ваш родственник?

— Да. И передайте ему, пожалуйста, вот эту книгу, если он до отправки отсюда придет в себя. А если нет, положите в его личные вещи.

Когда батальонному комиссару стало лучше, медсестра выполнила просьбу лейтенанта.

Книга, оставленная им, называлась: «М. Ю. Лермонтов. Избранное». На титульном листе надпись: «Самое любимое — любимому учителю. С.» Из книги торчала полоска бумаги, закладка. На ней — тем же почерком: «Помните, как вы закатили мне двойку за незнание материала 1812 года? Что бы вы мне сейчас поставили на Бородинском поле? С.»

Закладка лежала на той странице, где было напечатано «Бородино».

Вот затрещали барабаны —
И отступили басурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.

Кто же они — люди, о которых я рассказываю? Учитель — И. Арцис, бывший директор нашей спецшколы и преподаватель истории. Он ушел на фронт в июне сорок первого и воевал до конца — до победы. Ныне он доцент кафедры научного коммунизма в одном из московских вузов, ведет большую общественную работу, выступает с лекциями.

А ученик — А. Сибиряков, офицер, отличившийся во многих сражениях Отечественной войны.

После ее окончания ветераны не раз встречались и, конечно, вспоминали Бородинский бой.

Мне рассказали.

Однажды бывшую преподавательницу литературы в пятой спецшколе Наталью Ивановну Бражник посетила гостья из Франции.

Незнакомая молодая женщина, стоявшая на пороге, с трудом произнесла по-русски:

— Вы будете Наталья Ивановна?

— Да, да.

Гостья обрадовалась:

— Я к вам. Вы говорите по-французски?

По-французски Наталья Ивановна говорила хорошо. Она училась в гимназии, окончила в Петербурге Бестужевские курсы. Была человеком широко образованным и бесконечно обаятельным. И еще: она была очень красива.

Красива той удивительной спокойной, царственной красотой, которая не увядает с годами.

Писала учебники, преподавала литературу.

Ребята, пришедшие в спецшколу и только что надевшие военную форму, рассуждали так: литература — третий план, пусть учат ее те, кто в институты собираются, а наше дело — артиллерия.

Бражник уверяла упрямых, еще не оперившихся военных, что литература — тоже оружие, знание ее офицеру необходимо. И увлекла ребят своим предметом так, что они стали издавать рукописный литературный журнал «Абельмановская застава».

Во время войны она получала много писем с фронта. Писали ей лейтенанты, капитаны — бывшие ученики.

— Я из города Бордо. Меня зовут Рози, — представилась гостья. — Вы преподавали в военном колледже?

— Да.

— Вы не помните такого ученика — его звали Саша Малошицкий?

— Помню, помню, — сказала Наталья Ивановна. — Он хорошо писал сочинения, участвовал в нашем литературном журнале, я получала от него письма с фронта. Кажется, он был на Первом Белорусском. Но потом я его потеряла... Вы знаете о его судьбе?

— Я пришла сказать вам, что он погиб...

Она раскрыла сумочку и достала из нее красный цветок гвоздики.

— Это вам, Наталья Ивановна. Это с его могилы. Он любил красные гвоздики.

— Где могила? Как он погиб?

— Могила в городе Бордо, а где похоронен, я не знаю.

— Как? Я не поняла вас...

— Сейчас поймете, сейчас поймете, — сказала Рози. — Это было во время оккупации. Мы взрывали кабаре, где собрались фашистские офицеры. Нас было пять... Осталась только я одна. Саша и еще трое не вернулись. Они убиты. Куда их, убитых, увезли гестаповцы, я не знаю. Я поставила Саше на кладбище памятник и считаю, что там его могила.

Рози снова раскрыла сумочку и протянула Наталье Ивановне фотографию. На ней была мраморная плита. На плите надпись: «Я всегда с тобой».

Не знала француженка, что русская женщина, которой

она рассказывала о своей любви и трагедии, может быть, лучше всех поймет ее. У Натальи Ивановны был муж, горячо любимый человек, который погиб в 1929 году во время конфликта на КВЖД. С тех пор она жила всегда одна, одиноко, а на груди носила медальон с его портретом.

...Рози рассказала, что Саша, будучи раненным, оказался в плену. Гитлеровцы заключили его в концентрационный лагерь в районе города Бордо. Из лагеря Саша бежал, установил связь с участниками Сопротивления, создал группу подрывников из французов и русских. В этой группе была и Рози.

Так они встретились.

— Я много слушала Москву тогда, в оккупации. Вместе с Сашей. У меня дома была спрятана радиостанция. Он записывал сообщения Советского информбюро, — сказала Рози. — Москва казалась такой далекой-далекой... И вот теперь я здесь. Жаль, очень мало времени. Я с туристской группой. Долго-долго копила деньги на эту поездку...

— А как вы меня нашли?

— После гибели Саши у меня осталась его записная книжка. В ней был ваш адрес. И потом, он рассказывал мне о вас.

Разговор шел по-французски, но иногда Рози вставляла русские слова.

— Вы немного знаете русский?

— Да, это Саша меня учил.

На белой скатерти лежала красная гвоздика и рядом с ней фотография памятника: «Я всегда с тобой».

Эта история записана в дневнике человека, который был в гостях у Натальи Ивановны. Она рассказала ему о Саше и о приезде Рози, показала фотографию памятника и засушенную красную гвоздику.

Вернувшись домой, он сразу же записал услышанное в дневник и где-то ошибся.

Я обратился в Управление кадров Советской Армии, там ответили, что лейтенанта Александра Малошицкого в карточках нет. Попросил в адресном столе дать мне всех Малошицких, живущих в Москве и ее окрестностях. Их оказалось немного, и ни у кого из них ни сын, ни брат в спецшколе не учился. Значит, ошибка в фамилии.

Я предпринял эти розыски потому, что иного пути у меня не было: в том же адресном столе несколькими днями ранее мне дали печальную справку: «Бражник Наталья Ивановна, поселок Текстильщики, Седьмая улица, дом 2/20, кв. 88, умерла в марте 1966 г.»

Так пока для меня и осталось тайной, кто же из бывших учащихся пятой спецшколы герой французского Сопротивления.

Любимым учеником у Натальи Ивановны был Стасик Толковский, поляк по национальности.

Родился он в Советском Союзе. После спецшколы учился в артучилище и воевал в рядах польской армии, освобождавшей свою землю от немецко-фашистских захватчиков.

В 1946 году отмеченный наградами польский офицер приехал на несколько дней из Варшавы в Москву и навестил Наталью Ивановну. Сказал, что прибыл по сердечным делам — устраивать свою судьбу: хочет жениться на москвичке Лиле Шаповаленко, но имеются некоторые формальные трудности в оформлении брака.

К счастью, этот вариант «Варшавской мелодии» имел хорошее окончание, и во второй раз Толковский зашел к Наталье Ивановне уже женатым.

...Встретился с бывшим директором школы Арцисом бывший учащийся Васюрин.

Служил он на фронте в разведке, дважды тащил «языка», дважды ранен. Однажды умирал: напоролись разведчики на немцев, в схватке Васюрин получил ранение, упал, гитлеровцы посчитали его убитым и ушли. А он вернулся к своим.

Потом был участником штурма Кенигсберга. После войны учился, стал кандидатом наук.

— Но это все обычное, как у многих, — закончил рассказ ученик.

— А что у вас не так, как у других? — спросил директор.

— Самое памятное для меня, — ответил он, — это первый в жизни выговор перед строем. Я получил его в спецшколе, когда мы были летом в летних лагерях. Это

был даже не выговор, а арест на трое суток. Такой позор! С меня сняли ремень... А вышло так, что, когда я стоял в карауле — охранял бензобак, ко мне приехала из Москвы Люся. Ну, часовой и его любимая девушка присели поговорить. А тут идет разводящий... Все остальное понятно. Я мужественно вынес наказание, потом мы поженились. У нас четверо детей, и все озорники. Каждый раз, как мы отмечаем день рождения детей или годовщину свадьбы, я вспоминаю тот пост у бензобака.

...В 1949 году учителя Таганского района отмечали семидесятилетие математика Николая Иннокентьевича Старова. На юбилей пришли и бывшие «спецы».

Среди них — Васильчук. Он присутствовал на празднике не только как ученик, но и как коллега, ибо успел уже окончить механико-математический факультет Ленинградского университета.

Васильчук преподнес Старову корзину цветов и... контрольные работы с отметками Старова за 1939 год.

Поздравляя своего учителя, он сказал:

— Мы любили вас за то, что вы внушали нам: «Если вы решили, что ответ готов, подумайте еще одну минуту». Однажды вы спросили меня: «Кто был самым выдающимся математиком всех времен и народов?» Я сразу же ответил: «Лобачевский». На что вы сказали: «Вот поторопились... Самым выдающимся был тот далекий предок, который впервые понял, что есть число «2».

...Преподавательница немецкого языка Лидия Семеновна Синицына получила письмо от учащегося Щелчкова.

В немецком Щелчков преуспевал, сто новых слов отвечал Синицыной без запинки. На фронте оружием его были рупор и радиоустановка. Выходил на передовую и обращался к гитлеровским солдатам...

В письме Щелчков сообщал, что однажды он допрашивал пленного. Пленный оказался учителем из Гамбурга и сказал: «Хотя я всю жизнь изучал Достоевского, но силу русского человека так и не понял. Только сейчас начинаю понимать. Россия не та страна, которую нам рисовали с детства».

Я пишу об учителях, потому что подвиг их должен быть отмечен. Сотням ребят, будущим офицерам, они дали не только образование — они сообщили им замечательную, благородную жизненную интонацию. И по ним, по учителям, как по камертону, сверяли офицеры звучание своих мыслей и своих сердец.

Совсем недавно, когда за столом офицерской встречи один из ее участников неуважительно высказался о спецшкольной преподавательнице, другой, сидевший напротив, посмотрел на него в упор и сказал:

— Встань и извинись!

Провинившийся хотел обратить свои слова в шутку, но на него строго смотрели двадцать пять пар глаз, и все двадцать пять человек повторили:

— Встань и извинись!

Обронивший шальное слово поднялся и попросил прощения.

Несколько сурово для застолья товарищей, но справедливо!

Своих преподавателей «спецы» помнили всегда, не забывали, писали им письма. Получала такие письма и преподавательница литературы Екатерина Тимофеевна Костенко.

24 мая 1945 года она возвратилась из поездки в Чернигов, на свою родину. Все родные ее погибли. И от дома даже на память ничего не осталось. Искала фамильную реликвию — книгу Коцюбинского «Фата моргана» с дарственной надписью автора ее отцу. Не нашла.

Одинокая, приехала в Москву, домой, и в почтовом ящике нашла конверт с письмом двух учеников и их фотографиями. «Спецы» писали, что вернулись с победой, заходили к ней, но не застали, желали ей здоровья. Письмо было подписано: «Ваши ученики, они же и ваши сыновья».

А офицер Болдырев 9 мая 1946 года прислал ей домой корзину цветов и в ней записку: «Если вы живы, я счастлив. Цветы всегда буду слать вам».

Он жил не в Москве, но каждый год 9 мая ей приносили цветы, которые он заказывал.

А однажды приехал сам и пригласил старую учительницу на концерт артистов Ленгорэстрады:

— Пойдемте, послушаем, Екатерина Тимофеевна. Артисты выступают с той программой, с какой выступали

у нас в госпитале в тысяча девятьсот сорок третьем году... Тогда они помогли нам выжить.

...А телефон все продолжал звонить. Я снова услышал голос Владимира Дергачева из второй спецшколы.

— Приходи, открылся музей.

Музей большой, он занимает весь холл второго этажа и начал уже давать «отростки» по коридорам.

У входа в него уже не одна, а три мемориальных доски.

Когда я в первый раз был на Кропоткинской, на мемориальной доске было 29 имен погибших. Потом — 129... И розыск продолжается.

А напротив, в другом углу зала, стоит семидесятишестимиллиметровая полковая пушка, пушка нашего детства и юности. Орудие с коротеньким стволом.

О том, что такую пушку организаторы музея уже достали, я знал.

Найти им это орудие помог подполковник Алексей Соловьев, работавший в артиллерийском управлении. Об этом он мне рассказал сам. Соловьев — мой бывший одноклассник, или, точнее, одновзводник.

Сейчас он уволился из армии по болезни и работает в одном из министерств.

Мы с Евгением Строгановым пришли его навестить дома, на Таганке.

Рассказывая о новостях, я упомянул о том, что открывается музей боевой славы второй спецшколы.

Леша улыбнулся, вставил между прочим:

— Под конец своей военной деятельности я доброе дело им сделал. Пушку разыскал.

А в двух шагах от пушки — исполненный с ювелирной точностью и изяществом, отливающий золотом металлический макет гусеничной самоходной ракетной установки. На подставке — пластина, на которой выгравировано: «Музею боевой славы 29 школы в день 50-летия Вооруженных Сил от маршала артиллерии Казакова К. П. 23.2.68».

На стене пятьдесят портретов ныне здравствующих воспитанников школы. Под портретами — биографии и планки воинских наград.

А на стендах и в витринах — экспонаты.

Лежит старенький кисет с надписью «На память бойцу РККА». Этот кисет получил на фронте под Москвой бывший «спец» Август Мишин. Тогда он был разведчиком. Сейчас Мишин — доктор юридических наук, профессор МГУ.

При встречах с руководителями спецшколы шутит:

— Ну, ведь вышел из меня человек? А вы хотели тогда отчислить за неуспеваемость!

Лежит записная книжка Тимура Фрунзе, куда он заносил незнакомые ему французские и немецкие слова. Сын легендарного полководца стал после спецшколы не артиллеристом, а летчиком, и ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Лежит тетрадь «Результаты работы взвода разведки 4-й отдельной артбригады 6-й гвардейской артиллерийской дивизии». Тетрадь эта принадлежала Владимиру Дергачеву, и в нее он заносил обнаруженные у противника артбатареи, НП, доты. Командир взвода разведки хорошо знал огневые средства противника и его оборону. И получил за эту тетрадочку орден Красной Звезды: цели, которые в ней перечислены, во время артнаступления были уничтожены.

Воевал Владимир Дергачев и на западе, и на востоке. Форсировал и речки Белоруссии, и далекий Амур. На востоке, будучи командиром гаубичной батареи, до Харбина дошел. Трижды был ранен. Ныне он — полковник милиции и работает в уголовном розыске Министерства внутренних дел.

Лежит под стеклом трубка Бориса Сергеева. Невыкуренная...

Такими трубками обменялись в спецшколе несколько товарищей, договорившихся встретиться в шесть часов вечера первого сентября 1950 года в кафе на 12-м этаже гостиницы «Москва». Каждый должен войти в кафе с трубкой в зубах... С пустой. Набить и зажечь трубки условились за столом, после встречи.

Борис Сергеев не вернулся с войны.

Он похоронен в Тирасполе, и на могиле его стоит тридцатьчетверка, на которой он воевал и под которой погиб.

Он служил не в артиллерии. Отец его был генерал-майором танковых войск, и сын тоже стал танкистом.

Рядом с трубкой — часы Бориса. Они остановились в 8 часа 32 минуты...

...А это — компас старшего лейтенанта Диомида Великолюда. Компас, рисунок блиндажа и засушенный цветок. Рисунок и цветок он прислал своей матери Галине Николаевне с фронта. На конверте — обратный адрес: «Полевая почта 239, часть 550».

Диомид тоже погиб и похоронен в городе Ратиборе. А Галина Николаевна Великолюд каждую неделю по вторникам приходит в школу, где учился ее сын. Она хранительница картотеки музея боевой славы, и благодаря ее усилиям удалось установить судьбы многих и многих спецшкольников, разыскать живых.

Друзья Великолюда свято помнят павшего в бою товарища и в день рождения Диомида собираются в его доме. В день рождения, а не в день смерти. Приходят к Галине Николаевне Август Мишин, Владимир Дергачев, полковник Юрий Куликов, поэт Спартак Селивановский, инженер-конструктор Михаил Шур.

Михаил Шур в создании музея участия не принимал, узнал о нем из передачи по телевидению и приехал в школу. А в школе в этот вечер не было света: произошла местная авария.

Михаил осмотрел весь музей, чиркая спичками, а потом сел в уголок и разрыдался.

Не стыдитесь, мужчины, слез! Тут подступит комок к горлу не только у того, кто увидел компас или часы погибшего друга.

...Учился в спецшколе Володя Осадчий. Боксер, самбист, борец.

В сорок первом он отражал атаку гитлеровцев на свой наблюдательный пункт. Дрались артиллеристы взвода уп-

равления как пехотинцы. И Осадчему осколком снаряда размозжило левую руку.

Не обращая внимания на боль, на хлеставшую из руки кровь, он побежал вперед. За ним кинулись бойцы. И немцы отступили. Яростной была контратака.

А потом лейтенант упал и очнулся только в госпитале. Лечился, ему сделали протез руки и сказали:

— Поезжайте в Москву, домой...

А он, вместо того чтобы ехать в Москву, явился в полк. Протез забинтовал. Пояснил, что из госпиталя его выписали, раны на руке заживают, необходимы лишь перевязки.

Его зачислили в строй, и только одна санинструктор, к которой он приходил на перевязку, знала, что у офицера нет руки: минули месяцы, люди в полку сменились. Но заместитель командира полка Петров смотрел на забинтованную руку Осадчего с подозрением. Однажды, когда Владимир, придя к санинструктору, снял протез, дверь открылась — на пороге стоял замполит. Тайны больше не было. Но уволить настойчивого офицера командование не посмело. И он остался заместителем командира дивизиона.

В ноябре 1942 года полковник Е. И. Левит, будучи начальником разведотдела штаба артиллерии Донского фронта, приехал по делам к командующему артиллерией 65-й армии.

После беседы генерал попросил его ненадолго задержаться.

— Сейчас я буду вручать ордена отличившимся в последних боях артиллеристам. Поприсутствуйте.

Вошли четыре офицера. У одного левая рука была в кармане.

Левит вспоминает:

— Я чуть было не сделал ему замечание: «Как вы держите себя при генерале?» И в тот же момент я увидел его лицо. Осадчий! Мой ученик, «спец»! Мы обнялись...

И вот тогда узнал Ефим Ильич, почему у Осадчего рука в кармане и что с ним произошло.

Некоторое время они воевали вместе. Полковник летал в Москву и привез ему в подарок трубку. Так просил Володя:

— Достаньте где-нибудь трубочку. Мне цигарки из газеты неудобно крутить.

Потом они потеряли друг друга, а теперь стало известно, что Владимир Осадчий с войны не вернулся.

Даже лишившись руки, он искал боя! Папироску трудно завернуть пятью пальцами, а воевать? Он не просил себе снисхождения, бинтовал протез, выдавая его за живую руку, а когда тайна перестала быть тайной, он заставил поверить командиров в то, что он не инвалид, и доказал это, отличившись в боях под Сталинградом, став человеком-легендой.

Легенды кругом.

В 1939 году спецшколу окончил Павел Пудов. Война для него слагалась не из боев: бо́льшую часть ее он провел в гитлеровских концентрационных лагерях и прошел все ступени ада.

В спецшколе за одной партой с Пудовым сидел Густав Шютц.

Шютц был сыном убитого фашистами коммуниста, депутата рейхстага. После гибели отца он оказался вместе с матерью в Советском Союзе, учился в артиллерийской спецшколе, окончил артучилище, воевал на фронте и погиб, но где и когда, неизвестно.

Павел Пудов ездил после войны на встречи узников лагерей, и один из участников этих встреч сказал ему, что Шютц был выброшен с десантом в Югославии в 1944 году и погиб в схватке с гитлеровцами. Он ссылался на то, что в Югославии Густава видел человек, знавший его по Москве.

А недавно в ГДР был выпускник второй спецшколы, ныне генерал-майор артиллерии Артем Сергеев, сын знаменитого большевика Артема, и он разыскал мать Густава — Элизу Шютц. Сергеев передал ей в подарок от бывших спецшкольников фотоальбом, рассказывающий о судьбах товарищей Густава. Мать погибшего офицера просила передать оргкомитету Музея боевой славы письмо: «Большое спасибо за ваш привет из страны, которая для немецких антифашистов, как и для меня лично, была второй родиной. Еще раз привет! Элиза Шютц».

Она сказала, что ее сын, как о том ее официально известили, пропал без вести в 1942 году.

Но кроме этого сообщения генерал-майор Артем Сергеев привез из Берлина военный журнал «Армее рунд-

шау», в котором несколько страниц посвящены Густаву Шютцу, и на этих страницах много фактов, дополняющих биографию героя.

...Густав с пяти лет был членом организации «Красные пионеры». В марте 1932 года, когда ему исполнилось одиннадцать лет, он написал на стене школы: «Кто верит сумасшедшему Гитлеру, тот сам сошел с ума».

Нацисты слали отцу Густава Вальтеру Шютцу анонимные письма, в которых угрожали расправиться с ним, и однажды они ворвались в его дом.

Вальтер отстреливался из пистолета, бандиты отступили. Потом пришла полиция. Ее интересовал только один вопрос: откуда у Шютца оружие? Но сын успел спрятать пистолет отца.

На одном из городских собраний Эрих Кох, ставший впоследствии гауляйтером и обер-президентом Восточной Пруссии, крикнул Вальтеру Шютцу:

— Мы все равно убьем тебя!

И 27 марта 1933 года банда эсэсовцев и штурмовиков во главе с Кохом выследила Вальтера на его нелегальной квартире.

Его привезли в здание старого вокзала, били железными прутьями, обливали холодной водой, пытали, стараясь узнать адреса партийных руководителей и связных. Вальтер молчал.

Он умер через два с половиной часа на глазах у сына, прибежавшего к месту трагедии. И тогда эсэсовец крикнул мальчику:

— Смотри на него лучше. То же самое, если не худшее, ожидает и тебя!

После этого сын сказал матери:

— Мы должны стоять друг за друга и отомстить!

Партия переправила Элизу и Густава за границу. Скрываясь от полицейских ищеек, они жили во Франции, Англии, Бельгии, Дании, Швеции.

Из Швеции нелегально выехали в СССР на советском пароходе. Густав был переодет в матроса, мать — в официантку.

Густав рос в интернациональном детском доме в Иванове, время от времени навещал в Москве частично парализованную мать.

Потом он с ее горячего одобрения поступил в спецшколу и однажды с гордостью рассказал матери, что их

летний лагерь посетил маршал Буденный, который объявил ему, Густаву Шютцу, благодарность — на смотре отделение Шютца было признано лучшим.

После спецшколы Густав учился в Третьем ленинградском артиллерийском училище и через несколько дней после нападения гитлеровских орд на СССР отправился на фронт, на Украину, под Киев.

Перед отъездом пришел проститься с матерью и оставил ей выполненный им самим карандашный рисунок — портрет отца.

Сказал:

— Это мой прощальный подарок. Будь мужественной, мать!

С фронта лейтенант прислал домой четыре коротких письма. Писал, что жив-здоров, что все в порядке, сообщал: осваивает украинский язык, учится верховой езде, получил подарок от женщин Ташкента — папиросы, платки.

Последний раз он написал 3 сентября 1941 года. Потом писем не стало. А те, что отправляла на фронт Элиза, возвращались назад. В феврале сорок второго она получила извещение, что ее сын пропал без вести.

«Еще не известно, где он погиб, — пишет «Армее рундшау». — Однако его имя навечно причислено к именам тех незабвенных героев, которые отдали свою жизнь в тяжелые для Германии времена за лучшее будущее, будущее, которое стало настоящим в нашей Германской Демократической Республике».

«Армее рундшау» называет последний адрес Густава Шютца — полевая почта 724/739, называет полк — 739-й гаубичный и просит откликнуться всех тех, кто знал Густава и кому известно об обстоятельствах его гибели.

...А может быть, Шютц, пропавший без вести осенью сорок первого, остался жив, оказался среди партизан и воевал в Югославии?

Меня волнует переплетение судеб людей, связанных одним священным делом — борьбой с фашизмом.

Два парня, русский и немец, сидели за одной партой в военной школе. Русский попал в плен и оказался в концлагере. Немец воевал с гитлеровцами и пал в этой борьбе. Русский едет в Германию, на родину товарища, и пы-

тается выяснить судьбу сына коммуниста, депутата рейхстага. А потом сын известного большевика, генерал, встречается в Берлине со старой коммунисткой, у которой героями умерли и муж, и сын...

Жизнь являет сюжеты, каких порою не родит писательская фантазия.

В книге Гольденвейзера «Вблизи Толстого» приводится весьма знаменательное высказывание великого писателя: «Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения. Будет совестно сочинять про какого-нибудь вымышленного Ивана Ивановича или Марью Петровну. Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что им случалось наблюдать в жизни».

Возможно, в этих словах есть известное преувеличение, но мы постоянно видим, как растет у читателей и зрителей интерес к телерассказам, очеркам, мемуарам, документальным фильмам.

О Леониде Андрееве говорили, что он, увидев какой-либо предмет, может придумать сюжет на тему этого предмета.

...В одной из витрин музея помещен металлический портсигар с глубокой вмятиной.

Не надо выдумывать историю этого портсигара. Она известна: жили в одном и том же доме и учились в одной и той же спецшколе два друга — Всеволод Кореневский и Евгений Черенков. И при расставании Черенков подарил товарищу портсигар. Каждый раз, доставая его из кармана, вспоминал на фронте Всеволод своего друга. Всю войну прошел он с этим подарком, и стал ему портсигар еще дороже, когда защитил его от вражеской пули... Вот тогда-то и появилась на металле его крышки вмятина. Папиросы туда уже не укладывались, но с портсигаром Всеволод не расставался: он стал для него талисманом.

Кузя, мой сосед по койке в краковском госпитале, говорил:

— Каждый раз, как только проснусь, мне приходят в голову слова песни: «Ты ждешь, Лизавета, от друга привета». У меня с них начинался фронтовой день. Помурлычу-помурлычу: «Одержим победу — к тебе я приеду» —

и умываться... В каких только переделках я не был — и ни царапины. А в тот день, когда меня ранило, забыл я про песню, встал и сразу умываться пошел...

Не улыбайтесь, суровые материалисты, по поводу суеверий и предрассудков. Так хочется человеку на фронте, чтобы осколком его не задело и пули просвистели мимо! И пусть с ним будет поврежденный пулей портсигар, пусть верит он, что его хранят дружба и песня!

Будьте, материалисты, немножечко поэтами!

Традиционные встречи «спецов» второй артшколы проходят теперь в стенах музея. Вот как сообщила об одной из них газета «Красная звезда»:

«Более сотни офицеров и генералов собрались в помещении 29-й школы столицы. На встрече с воспоминаниями выступили бывший военный руководитель школы полковник запаса Е. Левит, преподаватели Ф. Коровкин, С. Гуревич и другие. В почетном карауле у Знамени школы стояли учащиеся первого выпуска генерал-майор Б. Еремин и генерал-майор инженерно-технической службы В. Щеулов».

Оргкомитет собрал деньги и заказал значки. Они будут вручены всем, кто окончил некогда вторую спецшколу. А преподаватели и ученики нынешней 29-й школы за успехи в оборонной работе этими значками по решению оргкомитета ветеранов тоже будут награждаться.

А пока значков нет, экскурсоводы музея, пионеры и комсомольцы, носят на груди отличительный знак: черную артиллерийскую петлицу на банте из ленты ордена Славы.

Здесь, в музее, ребята отмечают День Победы. Празднично, парадно одетые, приходят к мемориальным доскам с весенними цветами. Сюда, в музей, переносят пятиклассники свои занятия, когда читают поэму «Сын артиллериста». Тут толпятся ученики старших классов, когда им дают сочинение на вольную тему. Пишут о войне, о подвигах, о патриотизме.

В стенах Музея боевой славы артиллеристов пионеры дают клятву юнармейцев...

Сейчас это ребята в красных пионерских галстуках, со следами неосторожного обращения с чернилами на руках. А пройдут годы — и, может случиться, настанут ми-

нуты, когда к каждому из них история обратится с вопросом: «Ну, что ты можешь?»

Долго не могу уйти отсюда. Разговариваю с полковником Е. И. Левитом. Его теперь здесь можно встретить каждый день: он военрук 29-й школы, вернулся в те же стены, где был военруком тридцать лет назад. Это человек, который обладает огромными знаниями и опытом профессионального военного и замечательным даром педагога.

— Вы, Борис, смóтрите на спецшколу глазами ученика, хотя и прошли годы, — говорит он мне, — а я вижу ее как преподаватель. Вы знаете, что самое замечательное было в этих школах? Ребята в них шли сами, сознательно. Они были достаточно взрослыми, чтобы определить свою будущую жизнь, но они все равно оставались ребятами. Вы смотрели на себя как на взрослых, а мы, не подавая виду, смотрели на вас как на детей. Вы играли в военных, а мы поддерживали вашу игру. Вы жили дома, с родителями, и спецшкола не отняла у вас юности. Но такой вольный ваш статус нам, преподавателям, создавал ой-ой какие трудности. Дисциплинарный устав вы изучали, но он на вас целиком не распространялся. Как сохранить в подчинении сотни мальчишек? Все держалось на пропаганде сознательной дисциплины и на авторитете командира и преподавателя. Казенному командиру и неинтересному преподавателю в спецшколе делать было нечего. Да таких и не присылали. Заботились о «спецах». И кто вышел из спецшкол? — Полковник обводит глазами стены музея. — Вышла настоящая комсомольская гвардия, молодая гвардия! И вышла неплохая военная интеллигенция. Вы же знаете, где ваши товарищи работают и кем...

На обложке моей книги «Песня о теплом ветре» художник Петр Пинкисевич изобразил санинструктора Любку. Видимо, не случайно. Возможно, она удалась мне больше, чем другие персонажи.

А я о ее судьбе ничего не знал. И так до недавнего времени, до тех пор, пока не рискнул обратиться к человеку, который не раз уже мне помогал — к начальнику

приемной архива Министерства обороны подполковнику Степану Евдокимовичу Максаеву. Двадцать пять лет назад назначили его на работу в архив. Пришел сюда прямо с фронта, и война для него с тех пор продолжается. Люди ищут, люди спрашивают.

Но я говорю «рискнул обратиться», потому что мог назвать только имя и номер полка, а затем — бригады. И все.

Степан Евдокимович сказал:

— Найдем!

И нашел! Позвонил по телефону.

— Запишите: Любовь Семеновна Кофанова, тысяча девятьсот двадцать третьего года рождения, член ВЛКСМ, преподаватель, призвана двадцать пятого июня тысяча девятьсот сорок первого года Мценским райвоенкоматом, демобилизована десятого декабря сорок пятого...

Теперь я держал в руках надежный кончик нити. Обратился в паспортный отдел УВД Орловской области и там тоже встретил человека внимательного, отзывчивого — Клавдию Егоровну Толокову. Для того чтобы ответить мне без ошибки, она даже выезжала из Орла в Мценск. В Мценске встречалась с матерью Любови Семеновны, оставила у нее записку с моим адресом. Это я узнал потом. А пока почта из Орла принесла мне справку: Любовь Семеновна Кофанова, после замужества Коновалова, проживает в селе Подберезово, где заведует начальной школой.

А из Мценского райвоенкомата дополнительно сообщили: «Награждена правительственными наградами, имеет два ранения».

Я написал письмо Любови Семеновне и стал ждать ответа. Волновался: «Та ли все-таки Любка или не та?» Ведь я знал только имя...

И вот, наконец, звонок почтальона, и письмо из Подберезова у меня в руках. Бегу глазами по строчкам:

«...Мне дороги все, кто связан чем-то с моей молодостью военных лет. Я унесла на всю жизнь память о прекрасных людях, о дружной фронтовой семье, где ничего не страшно... Я, конечно, помню вас... Вы спрашиваете, как так случилось, что я в армии с третьего дня войны. 20 июня 1941 года я окончила одновременно педучилище и вечерние курсы медсестер. В первый день войны прямо с выпускного бала мы с подругами, молодыми учителями,

пришли в военкомат и не ушли оттуда до тех пор, пока нас не призвали... Послали же все-таки не на фронт, как мы просили, а в эвакогоспиталь медсестрами. Но нам только бы зацепиться! Свое 18-летие я встретила уже опытной перевязочной сестрой... Когда был сдан Орел, мы кое-как выехали с тяжелоранеными через Тулу в Тамбов, а затем в Саратов... Потом попала в полевой передвижной госпиталь хирургической сестрой. Наш госпиталь располагался недалеко от Сталинграда. Было много раненых и много обмороженных. Вместе с врачами по нескольку суток не отходила от операционного стола... Даже не верится, откуда только силы брались. Но я все просила послать меня на передний край. Так я оказалась в 312-м полку, а затем — в 146-й бригаде... Хорошо помню, как брали Ужгород, как ходили по Высоким Татрам. Помню частые ночные переходы нашей бригады, когда нельзя было сесть на лафет: сядешь — заснешь и упадешь под пушку. И шли, вцепившись друг за друга.

Помню ранение Саши Исакова. Я его тоже везла в санбат. Ему осколком отрезало нижнюю часть лица. У него были одни глаза, смотрели на меня и плакали. Он понимал, что это конец. Вместе с ним плакала я — от бессилия помочь.

...Я ничего не делала героического, я, как и тысячи военных девушек моей судьбы, делила с вами, мужчинами, тяготы военных лет, отдавала свои силы делу, которое было мне поручено, отдавала раненым ласку и нежность, чтобы заглушить боль...

...Бывая в Москве, всматриваюсь в лица прохожих, всматриваюсь в людей, стоящих на эскалаторах метро: может, встречу фронтовых знакомых. Но нет. Слишком много погибло.

Самый большой для меня праздник — 9 Мая. В этот день я веду своих детей к братской могиле. Провожу митинг. Первое слово — мое. Кладем венки на могилу, а я мысленно кладу цветы на могилы наших с Вами друзей и однополчан. И не стесняюсь слез, которые не могу сдержать.

А потом мы, военные девчата, собираемся и отмечаем День Победы. И поднимаем бокалы за чистое небо, за счастье наших детей. А у меня их двое: дочь Вера окончила пединститут, сын Юра перешел в 8-й класс. Муж — энергетик колхоза.

После демобилизации работала в Мценске в одном из учреждений, а в 1948 году перешла в школу, и вот леплю человечков, сею в души их любовь к Родине, все добрые человеческие чувства, стараюсь вырастить их похожими на наше поколение хотя бы патриотизмом... А до меня добраться так... Сообщите, когда ждать...»

Я послал ответ и отправился в дорогу почти вслед за ним, рискуя тем, что обгоню почту. Но этого не случилось. Письмо пришло вечером, а я приехал в Подберезово утром. И Люба тогда сказала:

— А я всю ночь не спала. Когда же начали ходить автобусы, села у окна. Остановка — напротив моего дома, и, пока приехавшие не вышли из-за машины, я вижу только их ноги. Смотрю: сапоги, сапоги, бутсы, кеды. Когда же ботинки?

Мы встретились так, как встречаются давно не видавшиеся фронтовики — люди, огнем крещенные и потому бесконечно родные. Как водится, поначалу беседа была беспорядочной и строилась на одних вопросах: «А помнишь? А помнишь?»

— Помнишь, Люба, какой ты была отчаянной девчонкой?

— Помню. Везла я однажды тяжелораненого на подводе, а навстречу — колонна, заняла всю дорогу, и мне не пробиться. Подбежала я к полковнику — на обочине дороги стоял, — прошу, чтобы пропустили. А он: «Не по форме ко мне обращаетесь, сержант. Обратитесь по форме». А я говорю: «Не могу по форме: у меня человек умирает». Ну, он тут же дал мне сопровождающего офицера, и кое-как эту колонну растолкали, пропустили нас. А кричала я на фронте только один раз. Это когда капитана Исакова ранило. Прибежала в этот лес, смотрю: погром какой-то, палатка изодранная валяется и капитан на земле лежит. С ним только его ординарец. А солдаты все по ровикам прячутся. Я кричу: «Черти, чего разбежались? Помогите! Нам одним капитана не поднять!» Рослый он был, помнишь?

— А знаешь, почему солдаты по окопчикам разбежались? Вокруг были немецкие автоматчики...

— Ах так? Я и не знала... — Любовь Семеновна молчит, потом говорит: — Какая там отчаянная, стеснительная я была. Не поверишь, первое время в полку голодная ходила. Как санинструктору, мне полагалось снимать

пробу на батарейных кухнях. Что такое проба? Ложка того, ложка другого — и все. Сниму пробу на одной батарее, иду на другую. А стыдно сказать, что голодная. Так было до тех пор, пока старшина вашей «девятки» не сказал: «Ты что, как принцесса, все с ложечки слизываешь? Ешь по-настоящему. В других батареях снимай пробу, а к нам обедать приходи. И без тебя за стол не сядем».

А у меня на языке все время вертелся вопрос: почему из военкомата сообщили, что она дважды ранена? Когда ранена? Ведь мы были два года вместе, в одном дивизионе, и о Любкиных ранениях я ничего не знал.

— А я скрывала, — ответила она. — Ты же сам вспомнил в книге мои слова: «Меня не убьют. Я вечная». А какая же вечная, если раненая?

Оказывается, первый раз Любу ранило в Запорожской области под селом Балки — в бедро, в бок, в живот. Разрывом снаряда. Хотели отправлять ее в госпиталь, но она так протестовала, что ее оставили в полковой санчасти. И друзья-медики по ее просьбе никому не говорили, что она ранена. В дивизионе было известно лишь, что санинструктора временно откомандировали на работу в санчасть. А второе ранение было под Ужгородом — в обе руки. Тоже в санчасти скрывалась как отозванная. Потом появилась с забинтованными руками.

Те повязки на руках я помню. Но ведь тогда она говорила: «На кухне ошпарила». Правду я узнал только сейчас. И только потому, что из военкомата написали: дважды ранена. А так и жила бы во мне легенда, придуманная Любкой самой о себе: «Я вечная». На фронте эта легенда свою роль играла. И может быть, какой-то солдат говорил товарищу: чего, мол, бояться? У кого какая судьба. Вон Любка — баба, а ее ничего не берет.

И еще я узнал: всю войну Любови Семеновне было известно, что ее семью — мать и сестер — немцы уничтожили. И только в сорок пятом старшая сестра Тамара сообщила: живы.

А судьба самой Тамары, тоже комсомолки и тоже учительницы, сложилась тяжело.

8 марта 1942 года «Комсомольская правда» написала, что она погибла при выполнении боевого задания. Но в действительности она чудом избежала смерти.

...В сорок первом году, после того как наши части отошли от Мценска, командованию доложили: в городе остались две подбитые реактивные установки «катюши». Тогда это оружие было секретным, и командование приказало экипажам нескольких танков прорваться в Мценск, чтобы выстрелами из пушек эрэсы уничтожить, взорвать.

На одной из машин заряжающей была Тамара Кофанова. Поначалу ее не хотели брать в смелый рейд, но она упросила командиров. Учли они и то, что девушка безошибочно могла показать дорогу: город-то родной.

Задача была выполнена, но танк, в котором она находилась, немцы подбили, и он загорелся. Экипаж покинул его. Два танкиста, поняв, что уйти от врага не удастся, застрелились. Радист сумел юркнуть в сад. А Тамара вбежала в здание диспансера и там задержалась, оказывая помощь раненому солдату. В это время в нее выстрелил немецкий автоматчик. Пули пробили правую руку выше и ниже локтя.

Немцы удивлялись: фрау — танкист? А в танкистах Тамара оказалась случайно — пристала к отступающей части, а там не хватало людей.

Лежала в госпитале в Орле, во время бомбардировки города советской авиацией совершила побег. Вернулась домой, пыталась прятаться. Но фашисты объявили: если она не выйдет из подполья, то они возьмут заложницей и расстреляют ее мать.

Тамару угнали в Германию, в лагерь, который находился в Бабелсберге. А когда пришло освобождение, она поступила вольнонаемной в танковую часть и дошла с ней до Праги.

Сейчас Тамара Семеновна Тихонова живет в Москве, работает в главном управлении «Союзмедтехника». И в Москве по возвращении из Подберезова я с ней встретился.

А Любовь Семеновна с увлечением, я бы сказал с одержимостью, занимается делами своей школы. Школа в Подберезове небольшая. В ней только два учителя: она и ее дочь Вера, которая идет по ее стопам и так же, как и мать, не только преподаватель, но и медсестра запаса. Вместе учат подберезовских ребят, возят их на экскурсии в Орел, в Спасское-Лутовиново, в Ясную Поляну. Вместе устраивают детские праздники. И называют сель-

ские мальчики и девочки Любовь Семеновну второй мамой.

Недаром, наверно. Надо послушать, с какой любовью говорит о своих ребятах учительница:

— Самая трудная и самая благородная работа — с первоклашками. А самое хорошее время года — конец второй четверти. К зимним каникулам новички уже умеют читать и писать. И как светятся тогда их глаза! Чувствует человек: умеет! Это же первый его успех. И у него праздник! А я хожу по классу и в макушки ребят целую. Они уже не только читают и пишут — счетом овладели. «Давайте, — говорю, — дети, составим задачу, где сумма неизвестна». Поднимается мальчик и предлагает: «Вчера над Вьетнамом сбили десять самолетов, а сегодня один...» Спрашиваю: «А почему сегодня только один?» Отвечает: «Раньше много сбили. Их уже мало осталось». Как хочется ребятам, чтобы скорее кончилась эта война и Вьетнам победил!

А я слушаю Любовь Семеновну и при слове «война» вижу девчонку с санитарной сумкой, бегущую по песчаным барханам у Северского Донца. Бегущую под разрывами, пропадающую в дыму. И воскресающую вновь!

О Любови Семеновне и о розысках ее, завершившихся встречей, я написал в газете «Известия». И в село Подберезово хлынул поток писем.

Откликнулся однополчанин: «...С прежним фронтовым приветом бывший начальник штаба С. Ивашкин». Написал Алексей Морозов, командовавший шестой батареей: «Я прибыл в бригаду после Долины... Хорошо помню Сашу Исакова и тот день, когда он получил смертельное ранение. Вас я впервые увидел на похоронах лейтенанта Бровко. Это был для меня первый бой, первое наступление. Затем мы встретились в медсанчасти 5 февраля 1945 года, когда Вы перевязывали меня, раненного в ногу...»

Много писем от ребят и учителей. Просят поделиться воспоминаниями, прислать фотографию, спрашивают, не надо ли чем помочь, может быть, книги для школы прислать.

Пишут пионеры отряда «Орленок» (г. Дубовка, Волгоградской области): «Наш город небольшой, открыток

с видами города нет». Ребята вложили в конверт свои самодельные фотографии и приглашают Любовь Семеновну приехать к ним. Они почему-то определенно уверены, что она работала в одном из госпиталей, находившихся в Дубовке во время боев под Сталинградом.

«Целуем Вас — все 30 пионеров». Это из письма ребят села Балки, где санинструктор Кофанова была ранена в первый раз.

И конечно: «Приезжайте». И из Ужгорода тоже: «Приезжайте».

И из Лисичанска. Из Лисичанска письмо от взрослого человека, но тогда, когда шла война, он был ребенком. Автор этого письма ударник коммунистического труда Владимир Бабурин:

«...У нас в пятом классе было 43 ученика, а похоронных извещений получили 97. Мы каждый раз плакали... А когда наш отец погиб, то все дети меня и мою сестренку жалели... Тогда я со своим товарищем из класса решил убежать на фронт. У нас все было приготовлено. Но мне не удалось осуществить задуманное — бить фашистов. Мама тогда заболела, сестренка — маленькая. И напарник Ваня Кваша рассудил по-взрослому: «Ты, Вова, оставайся дома, за сестренкой смотри, а я поеду на фронт»... Ваню я провожал ночью, подобрались потихонечку к стоявшему воинскому эшелону. На платформе под брезентом был танк.

Ваню вскоре вернули, родители его не ругали и не наказали: у них дочь погибла, была медсестрой... И тогда мы создали тимуровскую команду, командиром был избран я, ходили в госпитали к раненым, читали книги тем, у кого забинтованы были глаза, собирали металлолом...»

Пишет Бабурин и о том, что теперь тимуровские традиции продолжают его дети — Слава и Павлик: деньги, заработанные за летние каникулы, они посылают в фонд помощи пострадавшим вьетнамским детям, а вся семья регулярно делает взносы в фонд Мира.

На конверте, в том месте, где адрес отправителя: «Из г. Лисичанска, который Вы освобождали».

До сих пор речь шла о судьбах людей. Теперь — о судьбах земли, о местах, с которыми вы, читатель, уже однажды встретились на страницах этой книги.

ЧАСТЬ III

ИДУ ПО СВОИМ СЛЕДАМ



В октябре сорок пятого я приехал из Кракова в Москву. Кольцевой маршрут моих странствий, продолжавшихся несколько лет, замкнулся.

Двадцать с лишним лет спустя я снова отправился в Краков.

По пути остановился в Варшаве. Осмотрел Маршалковскую, аллеи Иерусалимские, Новы Свят, Краковское Предместье, Рынок старого города, побывал в веселом кафе «Крокодил», а вечером меня пригласили в гости в одну семью. И, конечно, вопрос:

— Как вам понравилась Варшава?

— Очень! — ответил я. — Варшава цветет улыбками.

— О, улыбку у нас любят, — заметил хозяин. — Вчера я поздно вечером возвращался с вокзала: провожал друзей. Пересекаю улицу, и вдруг свисток милиционера. «Платите, говорит, двадцать злотых. Вы перешли улицу на красный свет». Я отвечаю: «Но ведь ни машин, ни автобусов нет?» А милиционер улыбается: «Это, пан, верно: ничего нет, но я-то есть...»

— И ты отдал ему двадцать злотых? — спросила хозяйка. — Ты просто не нашелся, что ему ответить. Вот я днем перешла улицу на красный свет. Он свистит. Я подхожу к нему. Он элегантно козыряет и улыбается. Я тоже улыбаюсь. «Извините меня, пани, но с вас двадцать злотых...» А я еще больше улыбаюсь. Он спрашивает: «Что вы так улыбаетесь?» А я раскрываю сумочку и говорю: «Очень приятно заплатить штраф такому вежливому, учтивому пану милиционеру. А еще говорят, что милиция

иногда невежлива. Если бы надо тридцать, я бы и тридцать отдала. Тем более что я виновата стопроцентно». А он: «Закройте вашу сумочку — мне тоже приятно встретить такого вежливого пешехода. Пойдите в кафе и на эти деньги выпейте чашечку кофе». — «Но на двадцать злотых можно взять пять чашечек кофе. Не пожелает ли пан милиционер выпить кофе вместе со мной?» — «Нет, пани, с удовольствием, дзенькуем бардзо, но я на посту. Если эти деньги вы считаете все равно пропавшими, возьмите еще к чашечке кофе кусочек торта, но улицу на красный свет, умоляю вас, больше не переходите...»

На следующий день редактор «Шпилек» мне сказал:

— Ты знаешь, чем я был занят эти дни? Розысками футбольной команды, которая называется «Шпильки». В Варшаве идет розыгрыш кубка по футболу между детскими уличными командами. И вдруг узнаю: существует команда «Шпильки». Ну, мы нашли этих ребят, пригласили в редакцию и вручили каждому майку, трусы, гетры, бутсы, капитану — мяч. Теперь у нас есть своя команда!

— У вас так любят юмор, что дети назвали свой уличный футбольный клуб именем юмористического журнала?

— Да, — сказал он и крикнул через стеклянную перегородку своему секретарю: — Пани Зося, много ли у вас гро́шей?

— Много, — ответила та.

— Вы знаете, для чего она собирает эти мелкие монеты, на которые ничего не купишь? — спросил редактор. — Она хочет быть счастливой. Недавно во время одного концерта конферансье сказал: «У кого есть один грош — прошу на сцену». Гроша ни у одного человека в зале не оказалось. «Очень жаль, пропадает приз — заграничная туристская путевка». Теперь вся Варшава собирает гроши. А вдруг конферансье скажет: «У кого есть сто гро́шей — получает автомобиль».

— Вся Варшава? — переспросил я.

— Вся, — ответил он. — У нас на концерты, на юмористические программы ходят все. Вернее, хотят попасть...

И в этом я убедился, когда шел на спектакль эстрадного театра и за много кварталов до него слышал один вопрос: «Нет ли у пана лишнего билетика?»

А в Кракове, преодолев пикеты оставшихся без билетов, я попал в кафе «Яма Михаликова». Шел сатириче-

ский спектакль, в основу которого положен старый сентиментальный душещипательный роман, переиначенный на современный, иронический лад. Семь прекрасных актеров, игравших тонко, без пережимов, в очень сдержанной манере, весь вечер разговаривали, пели, танцевали.

Кафе было битком набито. От смеха, как мне показалось, качались люстры.

Когда я сказал: «Варшава цветет улыбками», это был не комплимент, не фраза.

Такое в Польше настроение, таковы поляки.

Краков в сравнении с Варшавой город тихий. Ходят здесь не спеша, и если кто-то торопится, то ему вслед обязательно бросят: «Пан, наверно, из Варшавы. Он еще не успокоился».

Но так скажут только в старых кварталах Кракова, в центре. Город разросся.

Я до боли в ногах ходил по нему несколько дней с утра до вечера, не забыл его улиц и улочек и даже сказал однажды своему спутнику — польскому писателю Феликсу Дерецкому:

— А вот здесь можно пройти короче — проходными дворами...

Он был удивлен.

И все-таки во время одного из вечерних путешествий, когда уставший Дерецкий остался в гостинице, сказав: «Я поднимаю ноги вверх», я заблудился: попал в новый район. Попытка выпутаться из лабиринта незнакомых улиц ничего не дала. Для того чтобы возвратиться в гостиницу «Краковия» — новую, огромную комфортабельную гостиницу, — мне пришлось взять такси.

Счетчик показал, что я ушел за восемь километров.

Растет город. Удвоилось его население.

И все же я пленник Кракова старого — того неповторимого вечного города, который благодаря бдительности советских разведчиков и мастерству наших полководцев удалось взять целым, сохранить от разрушения. Ни один камешек здесь не пострадал!

...На площади Главного рынка, у «Сукеннице», торгуют женщины цветами. Охапки, целые снопы цветов в ведрах.

Кормят голубей дети. Голуби смирные, спокойные и, как сказал мой товарищ, садятся на плечо в три этажа.

В самом здании рынка, украшенном внутри старинными гербами польских городов, идет бойкая торговля сувенирами.

А с балкончика Марьяцкого костела трубит горнист.

В те дни, когда я был в Кракове, местная газета напечатала заметку «Пять трубачей с Марьяцкой башни»: «Во всей Польше раз в полдень, а в Кракове ежечасно раздаются звуки сигнала, обрывающегося па половине такта. Как и много веков назад, когда сигнал был прерван вражеской стрелой. Легендарный горнист, который играл па вершине Марьяцкой башни, был членом городской пожарной стражи.

Теперь эту мелодию повторяют те, кто заняли место ушедшего на пенсию маэстро Сметаны, — старые мастера сгня Ян Колтон, Тадеуш Панек, Войцех Хвая и помоложе: Сильвестр Лукашевич и запасной Константин Малек.

Все являются многолетними работниками краковской пожарной команды, все имеют музыкальную подготовку.

Работа сигналиста очепь трудная. Служба — каждый второй день, 24 часа дежурства на вершине запертой башни. Пятерка краковских сигналистов любит свою профессию, работает с увлечением. Двое из нее вскоре уходят на пенсию. Кто их заменит?»

Надо полагать, будет конкурс, ибо трубач — самый почетный человек в Кракове.

...Снова иду узенькими чистыми улицами, иду мимо древнего Ягеллонского университета, шагаю Плантами, и я у Вавельского замка.

Он смотрится в Вислу — матерь польских рек, а она, кажется, стоит на месте. Застыли оба как зачарованные. Вавель любуется Вислой, Висла — Вавелем.

В замке полно экскурсантов и туристов. Проходят поляки мимо саркофага королевы Ядвиги, кладут на розовый мрамор цветы.

В сорок пятом я писал о Кракове: «Бедности много. Унылой бедности на фоне замерших, вечных костелов и монастырей бернардинцев, францисканцев и норбертанок».

Праздные монахи остались. И монашенки с пергаментными лицами и любопытными, острыми глазами: не смотрят, а подсматривают.

А толпа на улице совсем другая. Веселая и нарядная. В Кракове люди одеты модно. В магазинах к товарам требования предъявляют суровые. Магазинов и магазинчиков много. Торгуют синтетикой и смешными игрушками, старинными предметами и предметами под старину — фонариками, светильниками из кованого чугуна, электрическими «керосиновыми» лампами.

Здесь старину любят.

Когда смотришь на Краков, кажется — он парит над веками.

Бесконечно можно ходить по этому городу-музею, городу готических башен, алтарей, скульптур, ренессансных двориков, окруженных аркадными галереями, домов с богатыми порталами и зубчатыми или волнистыми аттиками. Город, который свято хранит творения великого скульптора XV века Вита Ствоша, архитектора флорентийца Бартоломео Береччи и полотна Яна Матейки.

Но скорее, скорее к дому, что стоит на углу Раковицкой и Любомирской.

Я увидел его — и спазмы в горле.

Дождик октябрьский накрапывает. Мне говорит Дерецкий: «Вернемся в машину или пойдем в подъезд», а я стою перед домом, сняв кепку и не могу двинуться.

Я пришел сюда, как на молитву.

Дом такой же, как и был. Только кажется ниже.

Все дома, которые мы видели когда-то давно, в детстве или юности, потом кажутся ниже.

Купол с крестом. Скульптурная группа на библейский сюжет и родовой графский герб — щит с латинской «Эл».

Надписи «Послушание и труд» у входа нет. На ее месте вывеска: «Высша школа економична».

Выходят из дверей девушки-студентки в высоких пластиковых сапожках.

Реже стал сад перед домом: вырубили старые деревья, посадили молоденькие, березку посадили. Ее не было.

А перед «моим» окном, перед окном угловой палаты, где я лежал, остались три сосны.

Я их хорошо помню. И они меня помнят.

Идет дождик, и бьют часы на костеле пресвятой Марии-панны.

Много раз пробили они за прошедшие почти четверть века.

По этим часам мы жили. И не одному отсчитали они последний час.

За домом — флигель. В этом флигеле была канцелярия госпиталя. Я забрел однажды туда и увидел на столе стандартные похоронные, такие же, какие посылали с фронта...

Родным Виктора послали, Виктора, моего соседа по койке. Я не простился с ним; еще вечером он читал в полубреду строки из Гамлета, а утром койка была пуста.

Здесь люди радовались и плакали.

Здесь рождались и уходили надежды.

Здесь совершали на рассвете дежурные сестры молчаливый и тревожный обход...

И тут, в этих стенах, продолжались бои. Только пахло не порохом, а йодом, карболкой, камфарой.

Арьергард войны... Последний, отставший обоз.

«Эх, скорей бы домой! Другие уже дома. Что же нам делать, ребята?»

И те ребята, которые ходячие, лезут с костылями из окон первого этажа перед обходом главного врача: «Пусть увидит, что мы с врачом говорить не хотим, нам жаловаться не на что. Пусть скорее выписывают».

...Идет дождь, и бьют часы на башне костела пресвятой Марии-панны.

Одна березка и три сосны — совсем по-русски.

Госпиталь занимал еще один дом, он через дорогу. Там была главная операционная и первое отделение. Сейчас этот дом жилой, и стоит он по улице Модржевского.

Это бывшая Любомирская.

Тут же, близко, по соседству, и здание, на первом этаже которого помещался маленький универсальный магазинчик, где раненые офицеры тратили свои злотые.

От магазинчика остался лишь чуть заметный след. На забитой двери с облезшей краской еле-еле можно прочитать: «Склеп споживичи. Ян Яновски».

Помните? «...Я посадил бы Гитлера в клетку, возил по Европе и брал деньги...» Он мечтал сделать частную лавочку из истории.

А это не удалось и куда более богатым лавочникам — торговцам пушками, танками и фаустпатронами.

История отсчитывала иное время. Это время понял и повел за собою человек, который некогда жил здесь, на Любомирской.

Достаточно пройти сотню шагов, и увидишь серый массивный трехэтажный дом с высокими окнами и двумя балкончиками. У входа установлены мемориальные доски: «В этом доме жил и работал в 1912—1913 годах Владимир Ильич Ленин». «В этом доме под руководством Ленина состоялось совещание ЦК РСДРП(б) 10—14 января 1913 года».

Южная часть Польши называлась тогда Галицией. Галиция находилась во владении Австро-Венгрии.

«Вы спрашиваете, зачем я в Австрии, — писал Владимир Ильич Максиму Горькому. — ЦК поставил здесь бюро (между нами): близко граница, используем ее, ближе к Питеру, на 3-й день имеем газеты оттуда, писать в тамошние газеты стало куда легче, сотрудничество лучше налаживается».

Ленин установил отсюда связи с Россией и корректировал курс корабля революции.

Шел 1913 год. И в Петербурге в этом году произошло событие не очень большое, достаточно скромное, но все же обращающее на себя внимание.

Судебная палата слушала «дело об уничтожении брошюры «Маркс и Энгельс. Манифест коммунистической партии. Издание т-ва «Знание». Палата постановила: «Уничтожить вместе со стереотипными и другими принадлежностями тиснений, заготовленными для ее напечатания».

И вскоре помощник градоначальника в звании камергера высочайшего двора рапортовал начальству:

«...Имею честь уведомить... что 10 октября 1913 г. уничтожены, посредством разрывания на мелкие части, арестованные экземпляры брошюры «Маркс и Энгельс. Манифест коммунистической партии».

У самодержавия и русской буржуазии к тому времени уже имелся опыт борьбы с марксизмом и с самим Карлом Марксом.

Тридцать жандармов полковника Кнопна арестовали однажды в Одесском порту... Маркса, оказавшегося Юлием Александром Марией, ноттингемским негоциантом, бри-

танским подданным. Во второй раз Маркса, «скрывавшегося» под фамилией Валлас, тоже британского подданного, «опознали» по фотографии и задержали на пограничной станции Скуляны.

С тех пор на этой станции был учрежден специальный жандармский пост, призванный преградить в Россию путь марксизму. Но то ли плечи у жандармов со станции Скуляны были слишком узки, то ли охранники порядка временами дремали на службе — марксизм в Россию прошел.

В 1913 году, когда помощник петербургского градоначальника и камергер высочайшего двора старательно рвал труды Маркса на мелкие части, через границу из Кракова шли ленинские указания революционным рабочим. Ленин стоял во главе партии, которой суждено было всего через четыре года повести за собой народ на октябрьский штурм.

...Жандармский пост на станции Скуляны и на этот раз своей ответственной исторической роли не сыграл.

Мне вспомнились документы борьбы царских сатрапов с марксизмом в гостинице «Краковия», когда мы с Феликсом Дерецким вернулись с бывшей Любомирской улицы и делились мыслями об увиденном.

Не знали в сорок пятом раненые офицеры, что совсем близко, рядом с их госпиталем, стоит такой знаменитый дом. И еще знаменитый дом и в нем музей есть в Кракове на улице Польной. А в двух-трех часах пути от города — Поронино.

Теперь в Кракове появилось еще одно ленинское место: построенный с помощью Советского Союза металлургический комбинат имени Ленина — символ могущества новой, народной Польши.

А вечером мы с Феликсом пошли в кафе, которое находится в каменных сводчатых подвалах под массивной башней бывшей ратуши.

В подземелье на тяжелых грубых столах горят плошки с маслом, свечи.

Официантки в платьях давних веков подают вино, кофе, чай, пирожные. И играют цыгане на скрипке, как совсем недавно в Будапеште.

В Будапешт я приехал гостем журнала «Лудаш Мати». Ездил по стране с заместителем его редактора Дьердем Фельдешем.

Фельдеш — коммунист, человек доброй, большой души и горячего, щедрого сердца. Мы подружились с ним во время его приездов в Москву. Он любит нашу страну, знает и любит наших людей. Впервые их встретил тогда, когда однажды темной фронтовой ночью поднялся из окопа и с оружием перешел на сторону Советской Армии.

— Ты ведь на войне в этих местах был? — спросил он.

— Да.

Первые две венгерские деревни, которые я запомнил, назывались Торниашнемети и Гидашнемети. Ньиредьхазу знаю. Помню, как я провел ночь в доме хозяина мельничного комбината. Помню, как однажды вел колонну нашей бригады по равнине. Выступили поздно вечером. Моя «девятка» шла головной. Начальник штаба бригады сказал: «Времени мало, утром в семь ноль-ноль колонна должна выйти к перекрестку таких-то дорог. Жмите напрямик, через поля. По компасу!» Всю ночь кружила метель, снег залеплял фары тракторов. Я волновался: как бы не ошибиться в направлении. В семь утра ни разу не остановившаяся за ночь колонна вышла в назначенный квадрат, отклонившись от перекрестка дорог всего на двести метров.

После измучивших нас гор равнина, даже вьюжная, казалась раем. Главное, никуда не надо карабкаться.

А равнину мы увидели еще осенью, с Карпат. Гладкая как стол. Десятки деревень, скирды сена... Идиллия!

Ахнули батарейцы от восторга, увидев такую красоту!

Но первое мое знакомство с Венгрией началось с пластинки «Серебряные листья падают с дрожащих берез». С той пластинки, что вместе с «Викторолой» подарила нам под Ужгородом словацкая семья. И мы возили ее по фронтовым дорогам на прицепе со снарядами. Она лежала в ящике в стружках...

«Серебряные листья падают с дрожащих берез». А на дворе тогда тоже стояла осень, и тоже падали листья. И по крышам домов и оголенным виноградникам безжалостно хлестал холодный дождь.

Очень понравилась бойцам эта нежная, сердце щемящая, человеческая музыка. И тогда Маликов сказал:

— Хорошая у мадьяр музыка! Вот только если бы их не погнали против нас...

Поведал я Фельдешу историю с пластинкой и не знал, конечно, что история будет иметь продолжение. Через день или два он пригласил меня вечером в будапештский ресторан. В ресторане на невысокой эстраде играл оркестр — шесть молодых цыган во главе с пожилым седовласым маэстро.

Когда мы сели за столик, маэстро подошел ко мне, взмахнул смычком — и заплакала, зарыдала скрипка... «Серебряные листья...»

Это было для меня так неожиданно, что в первые секунды я замер, оцепенел, а потом все завертелось и поплыло в глазах. И нет столиков, и нет ни люстр, ни окон, ни эстрады. И я уже там — в той осени. В тех дождях. В маленьком полуразбитом доме. Среди своих бойцов.

Плачет-рыдает венгерская скрипка. А за стенами совсем недалеко с тяжелым треском рвутся немецкие снаряды. И в алом от пожаров небе висят на парашютах «фонари».

...Оказывается, Фельдеш еще днем побывал в этом ресторане, предупредил музыкантов, что мы приедем, и попросил их исполнить старую, забытую мелодию. Они ее помнили.

А потом он приготовил мне еще один сюрприз.

Я приехал на будапештский аэродром, чтобы лететь в Москву. Но ни около аэровокзала, ни в зале регистрации, ни в холле, где пассажиры ждут своего рейса, Фельдеша я не увидел.

Забеспокоился: что произошло? Ведь он хотел проводить меня. Объявили посадку, и мы, отлетающие, вышли па поле, к самолету.

Когда я был уже в нескольких шагах от трапа, услышал за спиной шум. Оглянувшись, увидел Фельдеша, который спорил с администраторами, пытаясь прорваться к самолету.

И все-таки прорвался, подбежал ко мне и сунул в руки узкую квадратную картонную коробку.

— Извини, что запоздал, — возбужденно сказал он. —

Только что привезли. Десять дней по всей Венгрии искал. Наконец-то друзья в Секешфехерваре нашли...

— Что это?

— Увидишь, услышишь.

Это была та самая пластинка старого, довоенного образца «Серебряные листья падают с дрожащих берез».

И теперь играет в моем доме венгерская скрипка.

Поет тонко и нежно. То плачет она, то притихает, просто грустит, и в этой грусти — раздумье и прощальная торжественность.

Слушая ее, я опять ухожу в ту осень, в последнюю осень войны. Ухожу в те ветра, что низко над виноградниками гнали обрывки серых облаков, ухожу в холодные закарпатские дожди. В последние холодные дожди, потому что после них дожди были уже теплыми, весенними. Это была весна Победы.

— Хорошая у мадьяр музыка! Хорошо, что они наши добрые соседи!

А внимательного и хлопотливого Дьердя Фельдеша я потом встретил еще раз, когда останавливался в Будапеште проездом в Югославию.

Мы вспоминали, как ездили «закрывать сезон» на озеро Балатон, как путешествовали в Секешфехервар, Эстергом, Эгер, Кячкемет. Как осматривали пионерскую железную дорогу, Чепельский автозавод и уникальнейшее сооружение — замок Бори Ене. Большой замок, похожий на крепость, построен руками одного человека! Бори Ене был инженером, художником и архитектором и строил замок сорок лет. В честь своей жены... И на своих полотнах изображал только ее.

И мы встретились с ней. Ей было уже восемьдесят лет, но она была похожа на все портреты.

Мы шагали по тихим аллеям острова Маргит и смотрели на мутноватый Дунай.

Дьердь спросил:

— А как пластинка? Слушаешь?

— Я берегу, берегу ее!

— Ты полюбил то, что у нас в Венгрии все любят. Недавно умер король скрипки, лучший исполнитель наших мелодий. «Король скрипки» — это звание не государственное, его дает народ. Дипломом и медалью является

популярность. И вот уже много-много поколений все короли были из одной семьи. И этот, который умер, тоже из нее. На похоронах над его могилой играла тысяча скрипок... Со всей Венгрии съехались скрипачи.

Мы так увлеклись разговором, что я едва не опоздал на поезд, идущий в Белград. Прыгнул на подножку последнего вагона.

Поездка в Югославию — это возвращение в страну, о которой я тоже упоминал в начале книги. И название этой страны — Поэзия.

В Белграде меня познакомили с инженером Йовой Петровичем и его женой Душицей, очень обаятельной женщиной. Душица — это уважительно-ласкательное от «душа». А «душа» и по-русски, и по-сербски означает одно и то же.

— Вы свободны в воскресенье? Приходите к нам, — сказали мне Петровичи.

В воскресенье у них собрались друзья. Среди них были инженеры, журналисты, бывшие партизаны.

Меня, как человека, приехавшего из Советского Союза, встретили очень радушно. И, естественно, очень скоро разговор зашел о том, что утвердило, скрепило дружбу народов СССР и Югославии, — о боевом братстве в дни минувшей войны. Вспомнили, как Советская Армия вступала в Белград. Вспомнили партизаны былые сражения.

А потом разговор зашел о литературе, и меня стали расспрашивать о новых книгах, о том, над чем работают московские писатели.

Мои собеседники хорошо знали творчество Галины Николаевой и Веры Пановой, Сергея Антонова и Константина Паустовского, проявляли большой интерес к советской мемуарной литературе и собирали книги из серии «ЖЗЛ», выпускаемой «Молодой гвардией».

О том, что «ЖЗЛ» в Югославии пользуется большим читательским спросом, я уже знал. Накануне я встречался с директором издательства «Рад», и он просил меня прислать из Москвы новые книги этой серии.

— Переведем и выпустим, — сказал он. — Расходятся моментально. Биографии читают все.

За столом затеяли литературную игру: кто больше прочтет на память из Достоевского. Один прочитал полторы страницы, другой — две.

Победителем оказался прочитавший, ни разу не сбившись, три страницы из «Преступления и наказания». Даже три с хвостиком.

Я заметил, что оказался среди эрудитов.

— Какие мы эрудиты! — сказал один из гостей. — Вот Душица — это эрудит настоящий!

Душица залилась румянцем:

— Ой, оставьте!

— Нет, нет, Душица, ты покажи москвичу свой дневник. Ты же сейчас не держишь его в секрете?

— Покажите, пожалуйста, если можно, — попросил я. — Если только можно...

Душица пошла в соседнюю комнату и вернулась, держа в руках тетрадь в кожаном переплете.

«20 октября... 3 ноября... 14 декабря...»

С обычными дневниками эту тетрадку роднили только даты. На этом сходство кончалось.

Это был... роман в стихах. В стихах русских поэтов. Стихами сорока пяти русских поэтов на протяжении семи лет, до замужества, девушка рассказывала о своей жизни, о том, что радовало или огорчало ее, почему ей было грустно или весело.

Это судьба, рассказанная тысячами строк любимых стихов. И ни одного слова от автора!

Брюсов:

Эта светлая ночь, эта тихая ночь,
Эти улицы, узкие, длинные!
Я спешу, я бегу, убегаю я прочь,
Прохожу тротуары пустынные...

Что-то случилось, значит... Ну конечно!
Пушкин:

Все кончено, меж нами связи нет...

И дальше — Полежаев:

Зачем порой воображеньем
Картины счастья рисовать,
Зачем душевные мученья
Тоской опасной растравлять?..

Снова Пушкин:

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом...

И вдруг — нежно-меланхолический, мягкий Блок:

Но в камине дозвенели
　　Угольки.
За окошком догорели
　　Огоньки.
И на вьюжном море тонут
　　Корабли.
И над южным морем стонут
　　Журавли.

Это, наверное, переход к другому настроению. И оно наступает, потому что следующие строчки, есенинские строчки, звучат иначе:

О, верю, верю, счастье есть!
Еще и солнце не погасло.
Заря молитвенником красным
Пророчит благостную весть.
О, верю, верю, счастье есть!

Девушка знала очень много русских стихов, и каждый день в памяти ее всплывали те, что были созвучны ее настроению; она мыслила стихами русских поэтов...

Я читаю этот необычный дневник, и мне кажется, что давно знаком с его автором, женщиной из Белграда, мне хорошо известна ее жизнь и близко ее тонкое, благородное поэтическое сердце.

Разве не может не быть близким человек из далекой страны, который в минуту грусти и одиночества раскрыл вдруг тетрадь и написал в ней не на своем языке, а на русском:

Ночь, улица, фонарь, аптека.
Бессмысленный и тусклый свет...

Или:

Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду...

Это же не только стихи надо знать — надо думать по-русски, размышлять по-русски, тосковать по-русски...

Я спросил у очаровательной Душицы, откуда она так хорошо знает русский язык и русскую поэзию. Она ответила:

— Сама учила, друзья помогали.

И тут кто-то сказал:

— Ду́ша, Ду́ша, ты сербка, а душа́ у тебя русская.

Она улыбнулась:

— У нас у всех душа одинаковая. Потому что мы родные!

Это был для меня большой праздник поэзии, новая, неожиданная с ней встреча. Не первая — и первая. Встреча с прекрасным всегда первая. Так каждый раз, словно впервые, вижу я Московский кремль. Я не могу привыкнуть к нему, он кажется мне всегда новым. Он для меня не застывший, а меняющийся. Недавно вдруг совсем иначе я увидел его башни. Казалось, все башни я хорошо знаю. А они не такие, какими мне представлялись до этого, — сложнее, замысловатее, интереснее.

Никак не могу постигнуть тайны красоты Московского кремля. А где тайна, там волнение.

Уже открытое, постигнутое не волнует.

И поэзия, и поэты — в движении. Смерть Маяковского не остановила его.

Сверхзвуковой самолет сначала пролетает над нами, потом слышен его звук.

Маяковский «выволакивал» будущее. Он был сверхзвуковым. Рассекая время, как воздух, он прежде явился, промелькнул сам, потом загремела его слава.

Круги ее ширятся. Маяковский вырастает: мы перечитываем его, и он больше открывается нам. Не стареют стихи.

Хорошие стихи никогда не стареют, и живут они с нами и в нас. Они обогащают жизнь, а жизнь насыщает их новым для нас содержанием.

Давно, до войны, запали мне в память уткинские строки:

На Карпатах,
На Карпатах
Под австрийский
Свист и вой
Потерял казак папаху
Вместе с русой головой...

Какие-то далекие, неизвестные горы, и в них сложил голову неизвестный казак...

Потом на фронте в Карпатах увидел я на вершине горы покосившиеся крестики на старых могилах русских

солдат, и стихи стали звучать иначе: я стоял у того места, где упал казак и где он похоронен. Он уже для меня не далекий — другой. Может статься, я сам окажусь по воле злой судьбы его соседом...

И снова те же стихи повторил я уже недавно, когда, путешествуя по Карпатам, остановился у памятников с красными звездочками.

...Потерял казак папаху
Вместе с русой головой...

Я вспомнил солдат Отечественной войны, навсегда оставшихся в Карпатах. Не неизвестных солдат, а людей мне близких, своих товарищей.

Ах, как досаждали нам эти горы! И сколько раз ободряли мы друг друга:

— Держись, казак!

Вспомнил товарищей и заросшего рыжей щетиной старого коновода, который, кое-как забравшись со своей лошаденкой на вершину хребта, пожаловался:

— Извели меня Карпаты!

Однажды на пустой охотничьей вилле в горах попался мне в руки справочник, и в нем я прочитал: «Карпаты — излюбленное место туристов, край щедрой природы. Восхождения на горы доставляют путешественникам неизменное, ни с чем не сравнимое удовольствие».

Эти слова вызывали у меня, совершавшего в день по нескольку восхождений, только ироническую улыбку.

А теперь смотрю: идут-бредут по горам цепочки туристов. Для них — удовольствие...

Я пересек Карпаты с севера на юг и с юга на север в нескольких направлениях.

Это было весной, и горы стояли нарядные, невыцветшие и потому приветливые.

Горы те же, а пейзаж изменился: перестроились карпатские селения. Редко-редко где увидишь старые дома. Новые каменные, оштукатуренные, широкооконные, современно отделанные, элегантные — просто богатые. Хоть на рекламные открытки снимай! Особенно в южной части гор, за перевалами.

Глядя на одно из таких селений, на ряды прекрасных одноэтажных коттеджей, я достал из дорожной сумки письма, которые писал в 1944 году из Карпат, и прочи-

тал: «...бедность здесь дикарская, бедность кричащая, орущая! И ничего-ничегошеньки в домах нет, кроме блох и распятий Христа...»

Отсюда бежали крестьяне в прошлом на заработки по всему белу свету, бежали в поисках счастья десятками тысяч, и крестьянский поэт О. Улинц, побывавший не только в Европе, но и в Африке, писал:

Верховино, світе милий,
Рідна моя мати,
Чому твої діти ходять
По світу блукати?
Чому ходять блукаючи,
Доленьки шукають?
А пройдисвіти, злодюги
Тебе обкрадають...

Этот край называли землей без имени.

Теперь у него есть имя, хорошее, доброе имя. И новые песни. Их пел гостеприимный мэр города Славска В. Улыч. Я осмотрел этот городок и его гордость — новую большую школу. Школу с идеальными паркетными полами и превосходной мебелью, сделанной руками учащихся. А потом Улыч пригласил меня подняться на гору. Отсюда мы любовались Славском. Здесь Улыч подарил мне фотографию города, снятую с той точки, на которой мы стояли. Значит, у него припасены такие фото на случай приема гостей. На обороте сделал трогательную надпись. А потом пел песни: «Карпаты, Карпаты, высокие горы...» Исполнитель он прекрасный и в свой край влюблен, как поэт.

Письма, которые я взял с собой в дорогу, давали много пищи для размышлений: «...мы натолкнулись на укрепленную линию «Арпад» — бетонные надолбы, завалы, рвы, ряды колючей проволоки... Нас хотят задержать, не пустить в Венгрию...»

И вот я там, где тянулись когда-то надолбы и рвы. Теперь здесь проходит серебристая нитка нефтепровода «Дружба». И по ней советская нефть, пересекая Карпаты, идет туда, куда нам преграждала путь линия «Арпад».

А в начале горных кряжей, за городом Сколе, я попросил остановить машину у моста через горную речку.

— Что вы здесь увидели? — спросили меня.

— Мост хочу осмотреть.

— А что в нем особенного? Мост как мост. Новый. Мосты у нас везде новые. В войну были разрушены. И этот тоже был взорван...

Разрушила мост «девятка». В конце августа сорок четвертого. По мосту двигался немецкий обоз. Снаряд пробил бревна моста и взорвался под самым настилом. Мост рухнул.

Те же горы, те же полонины, те же миниатюрные деревянные церкви и часовенки, а пейзаж все-таки другой. Жизнь другая. «Карпаты, Карпаты, высокие горы...»

Тогда же я был в Ужгороде.

Поселился в гостинице «Интурист» и ходил по улочкам, вдыхая кофейные ароматы: здесь много маленьких кафе, где варят «дуплу» — напиток мужественных и закаленных. По-моему, одна чашечка такого кофе обеспечивает слабонервному человеку бессонницу минимум на сутки.

Недаром один приезжий сказал: «Выпил я чашку кофе, а потом всю ночь глядел в потолок удивленными глазами».

Те же, кто хочет успокоиться, пьют в прохладном подвальчике неповторимое закарпатское сухое вино.

Улицы Ужгорода всегда оживленны.

Едут по ним экскурсионные автобусы. Бредут табуны туристов. Туристы щелкают затворами фотоаппаратов.

Это один из древнейших городов и один из тех красивых, уютных городов, что отличаются хорошей современной архитектурой.

Ужгородский замок, у подножия которого раскинулся город, — памятник седой, средневековой старины. А ужгородскому университету только двадцать пять. Он открылся в первый послевоенный год. И в нем уже двенадцать тысяч студентов.

В этом городе тесно и не противоречиво переплелись старина и новь, и потому едут, едут, едут сюда люди. Толпа на улицах разноязыкая. Да и основное население разноязыко: восемнадцать национальностей. Местные газеты выходят на трех языках: украинском, русском и венгерском. Радио вещает и на молдавском.

А потом мне довелось быть в Ужгороде еще раз, через несколько лет, — в октябре 1969-го. Город отмечал двадцатипятилетие своего освобождения.

На праздник приехали сорок ветеранов нашей 18-й армии. Прибыли делегации словацкого города Кошице, венгерского Ньиредьхазы, румынского Сату-Маре.

Закарпатская область пограничная. Рядом — добрые соседи. И поблизости от Ужгорода проходят трассы нефтепровода «Дружба», газопровода «Братство» и энерголинии «Мир».

Несмотря на хмурую, осеннюю погоду, город выглядел празднично. Пестрел транспарантами, флагами, гирляндами цветов. Вечером вспыхивали огни иллюминации и фейерверка.

При этих огнях спустился я с набережной реки Уж к самой воде. Слушал, как журчит она по камням, тихо, но беспокойно бормочет.

А в воде отражались вспышки осветительных ракет. Так же, как 25 лет назад. Тогда мы переезжали эту реку на повозке вместе с двумя разведчиками и радистом. Торопились занять НП.

Но колеса повозки застряли в камнях, лошади, поднатужившись, дернули и оторвали гуж. Повозку пришлось бросить и принять крещение в Уже. Вода была по пояс.

От иллюминации и фейерверка небо розовое. Тогда оно тоже было розовым — от пожаров, от залпов «катюш».

Четверть века минуло с тех пор, и в честь этой даты были в Ужгороде торжества на городских площадях, на стадионе «Авангард», в зале филармонии, в клубах. Было шествие к холму Славы — к могилам солдат. Передавали по радио песни военных лет и читавшийся Левитаном Приказ Верховного Главнокомандующего: «Войска 4-го Украинского фронта в результате стремительного наступления сегодня, 27 октября, овладели...»

Гостей поместили в отеле интуриста «Ужгород», в начале строящегося проспекта Сорокалетия Октября.

Здесь я уже останавливался. Несколько лет назад. Но только теперь узнал одну любопытную подробность. Там, где сейчас новостройки, был в довоенное время «свинячий

квартал». Опустевшие свинарники хозяева сдавали безработным за пятнадцать крон в месяц.

Велика дистанция от «свинячего квартала» до нынешних, новых проспектов!

Номер в гостинице был двухместный. Ночью ко мне поселили соседа. И утром, когда мы проснулись и повернули головы друг к другу, между нами произошел такой разговор.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— На праздник?

— На праздник.

— Ветеран?

— Ветеран.

— Давайте знакомиться.

— Петров Кузьма Федорович. А ведь мы вроде когда-то виделись...

— Вы из какой части?

— Семьдесят третий мотосаперный батальон двадцать четвертой стрелковой дивизии...

— А я в артбригаде. Значит, Ужгород вместе брали?

— Ужгород. А потом — Требишов, Прешов, Кошице, Попрад, Левоча.

— И я тоже: Требишов, Прешов, Кошице, Попрад, Левоча. А ранило под Жилиной.

— И меня под Жилиной. Лежал в госпитале, в Оравском Подзамке.

— И я в Оравском... Беленький такой отель, а рядом с ним...

— ...Красная башня замка. Полежал там — и в Краков повезли.

— И меня в Краков. В мае сорок пятого. Госпиталь — напротив костела Марии-панны?

— Да, да, напротив. А справа — оранжерея...

— Парники. А слева — Любомирская...

— И на ней поляк в лавочке торговал...

— А заведующая отделением была женщина, капитан...

— ...Полная такая.

— С веснушками?

— С веснушками.

— И выписала она меня в октябре.

— И меня в октябре.

— Досрочно?
— Досрочно.
— В окно от врачей прыгал?
— Все прыгали, кто на первом этаже лежал. Домой хотелось.
— А когда выписали — ехал на угольном эшелоне до Львова.
— И я на угольном... до Львова...
Бывает же такое!
Мы прошли один путь, под одним и тем же городом были ранены, лежали в одних и тех же госпиталях, вместе выписались и ехали домой на угольном эшелоне...
Кузьма Федорович живет в Нижнем Тагиле. Пятнадцать лет был председателем поселкового Совета, ныне на пенсии, но продолжает работать в строительной организации.

А впереди меня ждала еще более неожиданная встреча.
Я должен был выступить на торжественном собрании рабочих фурнитурного завода «Большевик».
Перед началом собрания сидел в кабинете директора Олега Ивановича Галика. Здесь же было еще несколько работников «Большевика».
Меня спрашивали, как мне понравился город. Рассказывали («Это вам в блокнот»): население Ужгорода за послевоенное время удвоилось; продукция его экспортируется более чем в двадцать стран; раньше на первом месте была мебель, теперь — приборостроение, а производство мебели тоже увеличивается: строится новое здание мебельного комбината. И новый мост будет построен, и больница, и музыкальный театр.
— А деревню видели?
— Видел.
— Что раньше было, все снесли. Дочиста. А построили заново. Из кирпича. Вот вы будете завтра в доме отдыха машиностроителей. Рядом — деревенька. Обратите внимание: там только одна старая хатка, соломой крытая. Для туристов оставили. Как музей старого быта.
— Все изменилось за эти двадцать пять лет, — сказал Галик. — Вы видели на нашем заводе автоматические линии? А с чего начали в первый послевоенный год? Собирали по свалкам консервные банки, распрямляли и из этого

железа делали баночки для ваксы. Ездили по деревням, стригли хвосты лошадям — волос шел на щетки. Продолжалось так, правда, недолго. В колхозы пришли трактора. Лошадей поубавилось. Хвостов не стало. Пришлось переквалифицироваться.

— Ну, это вы скромничаете, — ответил я. — Не в хвостах дело. Я немного знаю рабочих Ужгорода, их сметку, умение. Помню, встретился с ними через несколько часов, как из Ужгорода выбили фашистов. У одного из тяжелых прицепов, на которых батарея везла снаряды, лопнула ось. Накренившийся прицеп окружили заводские рабочие, успокаивали меня: «Завтра к четырем дня мы вам его отремонтируем. Это будет нашей первой продукцией после освобождения»... И к шестнадцати ноль-ноль все было сделано! Такая помощь! Иначе батарее не хватило бы снарядов... А их по нескольку тонн в день расходовали: немцы упорно контратаковали. Батарея, «девятка», стояла около железнодорожного вокзала. Передавал нам прицеп очень милый человек, назвавшийся директором.

— А какой завод? Не можете назвать? — спросил секретарь партбюро «Большевика» Иван Свитлик.

— «Козар Людвиг».

— «Козар Людвиг»?! Так его бывший директор работает сейчас здесь, у нас, и с минуты на минуту зайдет сюда. Это Павлик. Михаил Андреевич.

И едва он произнес эти слова, как в кабинет вошел коренастый, ниже среднего роста седой человек.

— Павлик, Михаил Андреевич, — представился он.

Я сразу узнал его. Он только поседел и пополнел.

— Помните, Михаил Андреевич, первую ночь после взятия Ужгорода? Помните. шла колонна пушек и вдруг остановилась. У прицепа лопнула ось?..

— Вы?! — воскликнул он.

Мы обнялись.

Досказывать мне ничего не потребовалось. Михаил Андреевич вспоминал, как на следующий день в четыре часа я приехал к нему, как беседовали мы у него в кабинете, а потом вышли на заводскую площадку и он «сдавал продукцию».

Прицеп стоял как новенький. Не только ось поставили — гаечки везде довинтили, где не хватало, рессоры перебрали, выкрасили всю эту огромную махину. Борта —

зеленой краской, ступицы колес и спицы — красной, стрелу — черной.

— А как все-таки удалось тогда новую ось сделать? Ведь электричества не было, пара не было, оборудование поломано-попорчено...

— Секрет фирмы, — улыбнулся Михаил Андреевич. — Когда гитлеровцы и хортисты разрушали завод, мы сумели спрятать один газогенераторный мотор. На чурочках работал. В общем, чем крутить трансмиссию, у нас было...

А дальше Павлик рассказал, что работал на заводе «Козар Людвиг» с 1921 года, с семнадцати лет. С 1930 года он член коммунистической партии Чехословакии, во время войны работал в венгерском подполье, сидел в тюрьме.

— Знаете, каким я вышел из тюрьмы? Во мне было сорок пять килограммов...

— Выпустили из тюрьмы? Или бежали?

— Выпустили. Сколько месяцев вели дело и никаких улик не нашли. Подполье работало чисто.

— А после тюрьмы?

— Опять в подполье. И не один год. А потом и вы пришли.

В ту ночь Павлик был избран первым директором большого завода. Целью своей рабочие поставили помогать Красной Армии. Изготовляли военный инструмент, делали шипы для ботинок солдат горнострелковых дивизий, ремонтировали машины. А позже завод перешел на мирную продукцию — на производство газовой аппаратуры. И директорствовал Михаил Андреевич на нем до 1951 года.

А потом стал работать па «Большевике». Его избрали членом партбюро завода. И называли Михаила Андреевича партийной совестью и учителем молодежи. Несмотря на свои годы, он бодр, подвижен. Дел и забот у него много.

...Когда мне дали слово для выступления, я рассказал, что произошло вот в эту самую ночь двадцать пять лет назад. И в конце назвал героя события:

— Человек, который тогда очень помог нам, артиллеристам, сидит здесь, среди нас. Это Павлик. Спасибо вам, дорогой Михаил Андреевич!

Зал разразился аплодисментами. Павлик встал, повернулся к сидящим, поклонился. И в это время поднялись все, аплодируя стоя. Те, кто находились в клубе, хорошо знали этого человека, мужественно и высоко пронесшего через всю свою жизнь звание рабочего, звание коммуниста. Не знали люди только той маленькой подробности его биографии, о которой рассказал я. И не известно им было, что герой рассказа сидит в зале...

Мне хотелось еще раз увидеться с Павликом, и после собрания я спросил:

— Когда бы я мог к вам прийти?

Он сказал:

— Завтра я освобожусь в четыре. То есть в шестнадцать ноль-ноль...

Так мы и встретились в шестнадцать ноль-ноль...

В тот же самый день, 28 октября, в тот же час и в ту же минуту.

Но больше всего тянет меня к себе каменская земля. На ней был я в последнее время несколько раз.

Это та земля, где гитлеровцы три с лишним месяца держали Никопольский плацдарм, где долго-долго шли тяжелые нескончаемые бои.

Та земля, о которой солдаты говорили: «Она теперь мне как родная. Я ее от Благовещенки до Белозерки двадцать раз на брюхе прополз».

Началась она для нас после села Балки, с высоты 95.4. И прошли мы ее до Каменки-Днепровской.

Пели в блиндажах песню, что «на Южном фронте оттепель опять», и вздыхали:

— Когда же, наконец, возьмем Каменку?

Для того чтобы попасть сюда, надо добраться до Запорожья, а дальше — либо несколько часов автобусом, либо местным самолетом. В Каменке есть грунтовой аэродром, принимающий не очень взыскательные к посадочной полосе аэропланы.

Железной дороги в Каменку нет. Гудки локомотивов до нее не доносятся. Ближайшая станция, Таврическ, километров за восемьдесят.

А можно добраться и по воде, по Днепру. Ежедневно у каменской транзитной пристани швартуются по два-три теплохода, держащих курс на Киев или Херсон.

Дома и сады Каменки стоят на самом берегу Каховского моря. Точнее, под самым берегом: Каменку отделяет от моря дамба, и город стоит ниже уровня воды. Как Голландия.

Каждый раз оказавшись в Запорожье, я не тороплюсь на автобусную станцию или на аэродром, чтобы продолжить путь. Надо побывать у Днепровской плотины, ибо то, что произошло в низовьях Днепра во время нашего наступления, прямо связано с ее судьбой.

В 1941 году при отходе советских войск генераторы Днепрогэса были пущены на самосожжение, взорван аванкамерный мост и несколько бычков плотины.

Гидростанция умерла.

Гитлеровцы согнали на восстановление плотины три тысячи военнопленных. Из этих трех тысяч, по их же, немецким, документам, в живых осталось только семнадцать человек.

Чтобы прокричать на весь мир, что гидростанция работает и тем самым поднять «престиж» оккупантов, немцы чинили один агрегат. Назначили день торжества и установили в машинном зале банкетные столы. Прибыли дамы и господа во главе с гебитскомиссаром. Произнесли речи, дали сигнал к пуску.

Но праздник был омрачен тем, что в момент пуска неизвестный человек открыл люк спиральной камеры.

Вода, вместо того чтобы попасть на лопасти турбины, пошла в пиршественный зал. Поток смыл банкетные столы. Дамы и господа спасались кто как мог.

А потом мы снова пришли на Днепр. Войска 6-й армии развернулись на левом берегу у самой плотины. И замерли, парализовались.

Форсировать Днепр было нельзя. Сделай мы один шаг вперед — и плотина, в которую фашисты заложили тысячи авиационных бомб, мин, тонны и тонны взрывчатки, взлетела бы на воздух.

Днепровская плотина стала заложницей.

И фашисты чувствовали себя в полной неуязвимости, будучи убеждены: Днепрогэсом мы не пожертвуем. Их орудием здесь был стратегический шантаж. И надо было выбить из рук гитлеровцев это коварное оружие.

Сорок восемь дней бойцы командира группы разминирования капитана Михаила Сошинского вели разведку плотины. Искали провод, идущий к взрывчатке. Для того чтобы найти и перерезать эту стальную нитку, гвардейцам пришлось на шестидесятиметровой высоте незаметно проползти по всему гребню плотины, обшарить ее ребра, спуститься по веревке вниз, карабкаться снова наверх. А в это время водолазы из той же группы совершали столь же опасное путешествие под ледяными водами Днепра.

И несмотря на то что провод был затоплен, что плотина находилась под усиленным наблюдением противника и обстрелом с острова Хортица, солдаты задание выполнили.

Когда наши части пошли вперед, немецкий офицер включил рубильник — взрыва не последовало.

...Постояв на берегу у знаменитой плотины, у гидроколосса, имеющего историю романтическую, героическую, я могу ехать дальше. И за окном автобуса замелькают дома Карачекрака, Янчекрака, Васильевки, Балок. Автобус пойдет по той дороге, по которой наступала наша армия.

А за Балками дорога устремится вниз, к селам Каменского Пода. Останутся позади высоты, и дальше — равнина до самого райцентра.

Вербы и акации у дороги. Огромные вишневые деревья. Нигде не видал таких вишен-гигантов! Только здесь, под каменским солнцем и на каменском черноземе, они могли так вымахать.

Поля, перерезанные строгими, прямыми линиями лесополос и оросительных каналов. Сады. Виноградники. И длинные-длинные улицы сел Благовещенки, Ново-Водяного, Водяного, Днепровки...

«Эта земля — она мне как родная!» Волнуюсь и не знаю, с чего мне начать рассказ о ней.

Начну с памятников воинам. Их здесь много и по дорогам, и в степи.

За эти села, за район Каменский отдали жизни около восьми тысяч воинов.

Стоит бронзовый солдат в Ново-Днепровке, скорбно

склонив голову и подняв в руке автомат для прощального салюта.

На памятнике надпись: «Здесь похоронены 57 неизвестных воинов Советской Армии, павших смертью храбрых в боях за Родину». И стихи на камне:

Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись.
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
И для тебя, и для меня
Он сделал все, что мог.
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберег.

Застыли у памятника в молчаливом карауле елочки, туи. Склонили над ним ветви две ивы.

А у подножия — цветы, аккуратно, старательно подобранные букетики.

В этом районе я был и осенью, и зимой, и всегда у всех памятников цветы, венки.

Цветы на мраморных плитах братской могилы в колхозе «Россия». Цветы на братской могиле в селе Зеленая Балка. Десятки венков в центре Каменки, на могиле замученных и умерщвленных немецко-фашистскими оккупантами.

Оккупация района продолжалась 871 день. Свыше тысячи местных жителей гитлеровцы расстреляли. Больше семи тысяч вывезли на каторгу в Германию.

Высится в Каменке шестнадцатиметровый обелиск — памятник погибшим воинам-землякам. И на нем — 1478 имен.

В постаменте музыкальное устройство, и ежечасно, двадцать четыре раза в сутки, исполняется здесь отрывок из «Ленинградской симфонии» Д. Шостаковича. Звучит над площадью музыка.

О могилах и цветах заботится многочисленное в районе общество охраны памятников истории и культуры. Заботятся пионеры из клуба «Красная гвоздика».

Я был в Каменке, когда здесь отмечали двадцатипятилетие со дня освобождения города и района от фашистских захватчиков — 7 февраля 1969 года.

Ехал автобус по дороге, разбрызгивая лужи. И деревья стояли в воде.

Точь-в-точь как двадцать пять лет назад в это же самое время...

А на следующий день вдруг подул холодный ветер, и все застыло, заледенело. Стало бело.

Мы выехали вместе с секретарем райкома партии из Каменки на высоты, и с них было видно, как тянутся по степи к солдатским могилам черные людские вереницы.

Закутались в платки старушки от злого ветра. Шли, опираясь на палки, старики. Шли дети. Несли венки и несли красные знамена.

Это был праздник торжественный, праздник народный.

Накануне был вечер в селе Днепровке. Места в Доме культуры заполнили те, кто имел пригласительные билеты. А у клуба собрались толпы и толпы, сотни людей. И всем хотелось попасть в зал, где шел доклад, где выступали бывший начальник штаба 3-й гвардейской армии генерал-майор Корней Григорьевич Ребриков и бывший командир 266-й стрелковой дивизии генерал-майор Савва Максимович Фомиченко.

Те, у кого не было билетов, заполнили проходы. Но не оставались в них долго: постоят минут десять и выходят, чтобы дать возможность своим односельчанам, оставшимся на улице, тоже послушать ветеранов.

Тихо входили в зал в одну дверь. Тихо выходили в другую.

Так через Дом культуры прошло больше двух тысяч человек, и председательствовавший ни разу не сказал: «Товарищи, к порядку».

А в Каменке, в школе № 6, была встреча с ребятами. Собрались в физкультурном зале.

Я спросил, сколько зал может вместить людей.

Директор школы мне ответил:

— Четыреста человек, а сейчас в зале все восемьсот. Ребята, они тоненькие...

Несмотря на невообразимую тесноту, слушали ребята внимательно. Лица у них серьезные. Закончились выступления, Светлана Зинчук, председатель совета дружины, взмахнула рукой, и восемьсот ребячьих голосов огромным сводным хором запели:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

Разошлись ребята, а преподаватели пригласили нас в учительскую. Там был накрыт стол.

— Не откажите. Побудьте немного с нами. Мы знаем, вам еще предстоит выступать. Но нашего, каменского вина не попробовать нельзя. Оно слабое, но очень ароматное.

Тост произнесла преподавательница математики Анна Григорьевна Одинцова.

— Мы вас тогда так ждали, так ждали, — сказала она. — Думали, когда же, наконец, придете. Сидели в подвалах. Потом снаряды полетели. Стали падать вокруг. А мы радуемся: это наши, нестрашные...

Сколько же надо было пережить, перестрадать, чтобы даже снаряды показались нестрашными только потому, что свои?!

Самый торжественный день, когда отмечалась четверть века освобождения, начался с похода по местам боев.

Несколько газиков-вездеходов и семь гусеничных артиллерийских тягачей прошли по линии бывшей передовой.

Тягачи вели молодые ребята-допризывники, и во вместительных кузовах этих устрашающе мощных машин сидели тоже допризывники.

Останавливались у могил, возлагали венки.

Во время одной из остановок, разговаривая с допризывниками, я заметил, что они очень уверенно ведут машины: спокойно и красиво разворачивают, точно держатся колеи, строго соблюдают установленную дистанцию.

И тогда рыженький паренек в старом шлеме танкиста по-мужски серьезно, но вместе с тем не без юношеской запальчивости сказал мне:

— А у нас все такие! Если надо, наше село может выставить тягачистов на целый артиллерийский полк...

— Да уж видно: ребята тут опытные, — включился в разговор генерал С. М. Фоминченко. — А у тебя и шлем, как у бывалого танкиста.

Паренек подтянулся, поднял голову и доложил:

— В этом шлеме, товарищ генерал-майор, воевал мой отец в Великую Отечественную...

Отцы и дети!

Отцы и дети сидели в клубе каменского кинотеатра, когда шло торжественное собрание.

Выступали люди старые и молодые, говорили горячо. Выступали ветераны-фронтовики.

Вспоминали о приходе Красной Армии и вспоминали о том, как само население билось за свое освобождение. Земля была оккупирована захватчиками, а люди остались непокоренными.

В селе Ивановка партизанскую группу возглавил Алексей Трифонович Лысый, бывший партизан гражданской войны. За голову этого отважного человека фашисты обещали 10 000 марок.

В Большой Знаменке действовали партизаны Кирилла Ивановича Баранова, группа парашютистов сержанта Николая Сухова, работала подпольная комсомольская группа ДОП — Добровольное общество патриотов.

В местном музее можно увидеть самодельный двухламповый приемник, смонтированный в небольшом обшарпанном чемодане, в каких слесаря носят инструмент. Приемник принадлежал члену ДОПа Ивану Дмитриевичу Щурову, принимавшему сводки Совинформбюро.

И дрогнул зал от аплодисментов, когда в нем прозвучали слова:

— В честь своего прихода в Знаменку гитлеровцы посадили дуб. Наутро он оказался срубленным... На пне фашистам оставили записку: «Чужим деревьям на нашей земле не расти!»

Когда мы готовились к прорыву Никопольского плацдарма, я впервые услышал фамилию спайпера Аниканова. «Бить врага так, как Феодосий Аниканов!» — призывали газеты и замполиты. Но самого Аниканова я тогда не видел. Наша встреча произошла... 25 лет спустя.

— А не живут ли здесь, в районе, те, кто участвовал в боях за его освобождение? — спросил я секретаря райкома.

— Аниканов живет. Вам известна такая фамилия?

— Аниканов? Снайпер был Аниканов...

— Он и есть тот самый снайпер. В Днепровке его найдете. Он не только район освобождал — он дом свой брал с боя...

Разговор меня настолько заинтересовал, что я немедленно хотел ехать в Днепровку, но тут же к нам подошел сам Аниканов. Он приехал в райцентр на праздник.

С Феодосием Васильевичем, удалым человеком, весельчаком и любителем петь песни, я встречался потом не раз. И в каждую встречу узнавал о нем новое.

Он прошел войну от Сталинграда до Берлина и по пути освобождал свое село, где оставались мать и жена. За войну Аниканов «снял» 217 фашистов и выиграл восемь дуэлей с гитлеровскими снайперами. Научил искусству меткой стрельбы своего двоюродного брата Андрея Сидельникова, и тот сразил снайперской пулей еще 176 фашистов. Вместе воевали, несколько раз были ранены и контужены и вместе вступили в свое село.

Интереснейший собеседник Феодосий Васильевич! Говорит мне:

— Вы писали в журнале, что когда вошли в Днепровку, то по улице бродила одна-единственная курица. Вот, мол, и все хозяйство! А на самом деле не так! Еще было четыре курицы и один петух. Их на чердаке мать с женой прятали, чтобы немцы не съели. Эти куры сидели там три недели. Мать даже забыла про них. И что примечательно: куры молчали, и петух ни разу за это время не пропел. А на рассвете, перед тем как нам пойти в наступление, петух закричал вдруг «ку-ка-ре-ку!». Тогда мать сказала жене: «Катя, сегодня наши придут!» А через час-полтора мы с Андреем уже пили чай дома. Последний наш окоп был меньше, чем в километре от села, на родном поле. Здесь мы заставили замолчать четыре немецких ручных пулемета и истребили фашистского снайпера. Забрали трофей — немецкую винтовку с оптическим прицелом, пулемет взяли. И с этим вооружением домой явились...

Феодосий Васильевич умолкает, задумывается и говорит после паузы:

— А Андрей до Берлина не дошел. В сорок четвертом умер в госпитале. Перевезли его тело сюда, в Днепровку, и похоронили на братском кладбище.

Вспомнили мы с Феодосием Васильевичем минувшее. Я рассказал ему о Большом Балкинском кургане, о том, как встречали мы Новый, 1944 год. Он опять оживился:

— Новый год? Так я в ту ночь капе командира полка охранял. С передовой меня вызвали. А капе находился в трех шагах от Балкинского кургана. Мы же совсем близко были. А встретились только вот сейчас!

...Есть в Днепровке уважаемый человек, любимец пио-

неров, перед которыми он часто выступает, — Феодосий Васильевич Аниканов. И его родной дом стоит неподалеку от того места, где находился его личный снайперский окоп.

Мои боевые товарищи спросят меня:

— А как живут в Каменском районе? Помнишь, когда мы входили в Ново-Днепровку, нас угощали крестьяне вишневым компотом. Не было у них ничего, кроме сушеной вишни.

Как живут? Хорошо, богато живут.

У той белой курицы наследство большое: птицы разной в районе триста пятьдесят тысяч голов.

Крупного рогатого скота 43 тысячи, свиней 23 тысячи, овец 24 тысячи... Ко всей этой живности надо прибавить 20 тысяч ондатр, живущих диким способом: рядом лиман.

Продают каменцы много хлеба, овощей, фруктов, винограда. Все исчисляется тысячами тонн, десятками тысяч.

В районе десять совхозов, семь колхозов.

У крестьян — немалые приусадебные участки. И с них они снимают по три урожая в год. Производственный цикл такой: редис — огурцы — картофель.

И потому в районе идет большое строительство, и потому у населения 560 собственных автомобилей и (столько же людей записаны в очередь на «москвичи» и «волги»), 4500 мотоциклов, 17 тысяч телевизоров, и потому в сберкассе 22 тысячи вкладчиков и на каждого приходится в среднем около тысячи рублей.

В Запорожье летают в театр самолетами. Фрахтуют самолеты у аэрофлота: «у нас культпоход».

А скоро каменцы у себя будут принимать артистов: строится большой клуб, настоящий театр на 600 мест.

Есть в Каменке стадион «Космос». И есть чудесный расписанный художниками детский городок электрических аттракционов. Здесь с помощью кнопочного управления дети летают на ракетах, виражных самолетах, катаются на цепочной карусели. И имеется еще карусель волнистая. Под номером «два». Первая такая карусель установлена в Москве, в Сокольниках. Я спросил:

— Сколько стоит этот городок?

— Пятнадцать тысяч, — ответили мне. — Но двенадцать мы вернули за один сезон. К нам аж из Никополя

на веселье приезжают. Да и отдыхающих много. Едут из Мурманска, из Ленинграда. Курорт у нас здесь. Море.

Каменская статистика не будет сколько-нибудь полна, если не упомянуть, что в районе почти 12 тысяч учащихся, что в библиотеках записано более 37 тысяч читателей и что выписывают жители района 68 тысяч экземпляров газет и журналов при общем количестве жителей 65 тысяч.

Население здесь в большинстве русское, и районная газета выходит на русском языке.

Богатый район, культурный район, читающий район!

А был он в прошлом очень бедным. У меня в руках старенькая брошюра, на обложке которой написано: «Свящ. о. А. Ромоданов. Где зарыт Каменский многомиллионный клад? Обращение к каменскому земскому собранию 17 ноября 1917 г.».

Это интересный исторический документ. Вопль души попа-утописта, воскликнувшего в отчаянии «Так, братцы, дальше жить нельзя!» и пытавшегося ответить на вопрос, а как все-таки жить?

Аполлинарий Ромоданов призывал к орошению земли: чернозем отличный, но нет влаги, воды — сушь. Он сам разработал проект орошения: «Нужно поставить три громадных центробежных насоса с машинами к ним по сто сил каждая» и т. д. Это был довольно подробный и технически любопытный проект. За него он и агитировал:

«Три тысячи десятин пода — это такое ваше богатство, какого, уверяю вас, вы многие себе и не воображаете. И эти три тысячи десятин земли находятся прямо в небрежном, преступном обращении... Вы ходите по своему поду, покрытому золотом, и не желаете только лишь нагнуться и взять это золото в руки. Я теперь чист перед вами: нашел клад и не скрываю от вас, а зову, кричу, говорю: идите, люди добрые, берите в руки так щедро богом вам данную Фаллисову силу — воду и сами будете сильными... Деньги помогли бы дать вашим детям образование, и Каменка, глубоко верю, загремела бы как культурно-промышленный центр. Вот это и есть ваш многомиллионный клад, который лежит сейчас втуне, и вы по нему ходите и, простите за выражение, пухнете с голоду».

«Братцы» сидели, слушали, а отец Аполлинарий продолжал рассуждения о каменской земле: «Смотрите, какое на ней может быть ваше богатство — пример всем указан живой. Не ругайте меня, а подражайте мне, как учителю своему, а то, смотрите, я снимаю с себя ответственность перед будущим поколением тем, что я вам все указал, ничего не скрыл и все объяснил...»

В качестве «живого примера» Ромоданов имел в виду свое собственное хозяйство. Неплохое, как видно, хозяйство. Ромодановские яблоки продавались в Петербурге в магазине Елисеева.

Но у «братцев» не было денег, и отец Аполлинарий понимал это: «Вы скажете: хорошо, батя, поешь, а где взять 230 тысяч на водокачку...»

Деньги должны были дать... дачники. Надо было сделать Каменке рекламу, заманить в нее дачников из богатых городов... Но недоучел батя одного обстоятельства: чем кормить приезжую аристократию, если свои, по его выражению, пухли с голоду? И на какие средства купить для бар и барынь пуховые подушки — сами-то спали, подложив под голову кулак? Не приспособлены были хаты каменцев для приема высоких постояльцев.

Утопический дачный социализм Аполлинария Ромоданова давал в этом месте трещину. Круг замыкался.

«Каменский многомиллионный клад» был зарыт глубже, чем это казалось попу-мечтателю. И «раскопать» его люди смогли лишь спустя годы. И только благодаря Октябрьской революции, которую Ромоданов... не заметил. Она совершилась до того, как он произнес речь, и история отсчитывала уже другое время. И люди начинали строить новую жизнь, не надеясь на приезд дачников.

А сейчас дачников в Каменке полным-полно. И нет от них отбоя. Здесь даже замышляют построить крупный отель, но разве он поглотит хоть более или менее значительную частицу приезжих?

Рекламы Каменка о себе не публиковала. Люди из дальних городов сами прослышали про песчаный пляж, пароходные прогулки, волнистую карусель, ароматное вино, дешевые яблоки и огурцы.

Но прежде чем появилась волнистая карусель, надо было построить Каховское море и оросительную систему.

Каменскую оросительную систему сдавал в эксплуатацию Андрей Ефимович Бочкин, впоследствии строитель Братской и Красноярской ГЭС, Герой Социалистического Труда.

На орошаемых землях, а их уже одиннадцать тысяч гектаров, пшеница дает до пятидесяти центнеров с гектара и больше.

Сооружение оросительных систем продолжается — строится Верхне-Рогачикская, на очереди — Знаменская.

Прежде чем снимать по три урожая со своих огородов, крестьяне приобрели моторы для полива, а они в каждом дворе, и построили теплицы для выращивания рассады.

И, самое главное, прежде чем «отрыть» каменский многомиллионный клад, надо было создать совхозы и колхозы, вооружить их сотнями тракторов, комбайнов, автомобилей, электромоторов.

И еще надо было воодушевить людей, чтобы они работали увлеченно, самоотверженно, самоутверждающе. А об их успехах сообщает газета. Об этом говорят алые полотнища на флагштоках.

На скотоводческих фермах, на полевых станах, на улицах каменских деревень — везде установлены высокие корабельные мачты, и на них трепещут флаги. А у основания мачт — щиты, и на них написано: сегодня флаг поднят в честь того-то, который добился...

...Многокилометровые каналы, шлюзы, дамбы, сложные инженерные сооружения, тысячи машин, пыхтящих и гудящих моторов, большая и малая механизация и рядом — мечта просвещенного отца Аполлинария Ромоданова о водокачке. А?

Я второй раз открываю для себя эту землю, которую увидел когда-то с высоты 95.4... Мы воевали на ней, мы умирали и воскресали на ней и не знали, что она так прекрасна!

И не знали мы ее истории...

А минувшее давно и недавно прошло передо мною,

когда я оказался в Каменском народном краеведческом музее, который находится в кирпичном домике, в бывшей церковной сторожке. В двух комнатах этого музея — на стенах, стендах и в витринах размещены сотни вещей редкостных, удивительных.

Здесь есть коллекция скифского вооружения, какой не встретишь в государственных музеях. Здесь можно увидеть кухню скифянки, детские игрушки, бронзовые перстни с печатями IV—V веков до нашей эры, фибулу (заколку для плаща наподобие английской булавки) двухтысячепятисотлетней давности (которая, кстати, и сейчас работает), амфоры с эллинскими надписями, татарские стрелы, ядра, фитильные бомбы, старообрядческие песнопения с нотами, Евангелие, напечатанное в 1794 году (1620 страниц), старинную летопись Величка о пребывании здесь Богдана Хмельницкого, буденновские клинки, железный щуп, с помощью которого комбеды обнаруживали спрятанный кулаками хлеб, кулацкий обрез, фотографии организаторов Советской власти и колхозного движения, немецкие каски, партизанские листовки, чертежи нынешних оросительных систем...

Гуляют в двух комнатах ветры веков, ветры истории. Сколько повидала эта земля!

...И снова я в Каменке, и еще одна из интереснейших встреч — с человеком, с которым я уже виделся, разговаривал, но о нем самом знал мало.

Скуп на слова Иннокентий Петрович Грязнов, тих и скромен.

Ему семьдесят шесть лет, но он неутомим и каждый день к девяти часам утра торопится к домику Каменского народного краеведческого музея. Только два раза за последние годы музей не открывался ровно в девять: Иннокентий Петрович выезжал по делам в Запорожье.

Он пенсионер, должность смотрителя музея — общественная, но сколько же он сделал! Он этот музей создал. Добыл, раскопал все экспонаты своими руками, имея только добровольных помощников: школьников, учителей-энтузиастов и пенсионеров.

Сделал научную классификацию экспонатов, надписи — от пространных, пояснительных, до коротких, предупредительных: «Руками не трогать». Впрочем, рядом с чу-

челом зайца можно увидеть табличку, для музеев необычную: «Зайчика можно потрогать».

Не такая уж редкость — заяц. Не надо ребят лишать удовольствия — пусть потрогают...

В райкоме партии меня спросили:

— А о себе, о своей семье Иннокентий Петрович вам не рассказывал?

— Всего несколько слов: был на фронте, после войны поселился здесь.

— А вы встретьтесь с ним вне музея, пойдите к нему домой, вызовите на разговор, раскачайте, как говорится...

Из беленького домика, что стоит на краю каменских кучугур, я вышел с блокнотом, исписанным от первой до последней страницы.

...В двадцатых — тридцатых годах Иннокентий Петрович писал книги для детей: «Долой гномов!», «Искатели мозолей», «Остров голубых песцов». По его рассказу был снят фильм «Тарко».

Жил Грязнов в Ленинграде, а потом вместе с женой Ниной Львовной поехал на строительство Днепрогэса. Нина Львовна — врач, но на Днепрогэсе она не только лечила людей, но и бетон укладывала. «Это после дежурства».

Росли у них двое сыновей — Виктор и Андрей.

В 1941 году оба одновременно окончили Днепропетровский горный институт.

В войну вся семья была в действующей армии.

На фронт Нина Львовна ушла раньше, чем муж.

— Я проводил жену до трамвайной остановки в Запорожье, — рассказывает И. П. Грязнов. — И она поехала в действующую армию на трамвае: бои были уже близко.

Когда после войны вся семья собралась, то выяснилось: Виктор воевал с отцом под Сталинградом, а Андрей — на Кавказе, недалеко от госпиталя Нины Львовны.

И там Андрей совершил подвиг, который вошел в историю Отечественной войны: он был среди тех, кто сорвал с Эльбруса фашистский флаг. Был Андрей альпинистом, горнолыжником, парашютистом, и его включили в группу бойцов, которой поручали специальные задания.

На Эльбрусе снова был поднят флаг — советский.

Поднимались воины-альпинисты на труднодоступную вершину Донгуз-Оруна.

Через несколько лет после окончания войны группа альпинистов совершила восхождение на ту же вершину, нашла на ней пустую гранату. В гранате лежала записка, что здесь 2 декабря 1942 года были бойцы-разведчики Андрей Грязнов и Любовь Каратаева.

Любители странствий по горам распевают сейчас песню «Баксанская»:

Где снега тропинки заметают,
Где лавины грозные шумят,
Эту песнь сложил и распевает
Альпинистов боевой отряд.
Там, где день и ночь бушуют шквалы,
Тонут скалы черные в снегу,
Мы закрыли грудью перевалы
И прорваться не дали врагу.

Недавно эту песню поместил «Кругозор». А сочинена она Андреем Грязновым и его боевыми товарищами.

В 1949 году Андрей погиб в экспедиции, а через несколько лет альпинисты Киргизии взошли на безымянную вершину 4421 и назвали ее пиком Андрея Грязнова. Спортсмены Днепропетровска учредили кубок его имени с портретом героя.

...Помнишь гранату
И записку в ней
На скалистом гребне
Для грядущих дней?

В Днепропетровске живет сейчас старший сын Грязновых — Виктор. Он заместитель директора института геологии, кандидат наук. Виктор исследует залежи белозерских руд, открывает клады, которые зарыла Белозерка.

А Иннокентий Петрович с Ниной Львовной обосновались в Каменке.

Приехал он сюда в 1944 году после демобилизации, был назначен ответственным секретарем районной газеты.

В том году в Каменке работала экспедиция Академии наук СССР — возобновились раскопки скифского городища. В книгах профессора МГУ Бориса Николаевича Гракова, руководившего раскопками, есть упоминание: такой-то экспонат из коллекции Грязнова. Эти книги Граков

подарил Грязнову, написал: «В память о десятилетии совместных трудов на Каменском городище».

— Археология меня всегда привлекала, — рассказывал мне Иннокентий Петрович. — Еще в юности, увидев в музее реставрированный горшок, я тоже мечтал найти что-нибудь такое. С душевным трепетом прошел в Херсонесе по мозаичному полу, оставленному греками. Надо ли говорить, что раскопки в Каменке были для меня праздником!

С тех пор он посвятил себя истории Каменки-Днепровской. Просиживал свои очередные отпуска в Ленинграде в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. Искал упоминания о Каменке.

И нашел указ Петра I от 29 мая 1701 года: «...У реки Днепра в урочище на горе у Каменного Затону в пристойном месте подле речки Белозерки, против Никитину Рогу (так тогда назывался Никополь. — *Б. Е.*), построить вновь земляной город со всякими крепостями».

И нашел ордер князя Потемкина екатеринославскому губернатору И. М. Синельникову от 28 октября 1784 года: «Весьма желательно, чтобы знаменские раскольники склонились проситься на таврические степи по речке Белозерке. Всем известны изящные тамошние места, дайте об них знать и, изъясня все выгоды тамошнего пребывания, посоветуйте им учредить там свое жительство».

И нашел записи легенд о Белозерке, а новый вариант, современный, записал сам.

Обнаружил И. П. Грязнов упоминание о Каменке у Владимира Ильича Ленина в статье «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни». Статья представляет собой разбор книги В. Постникова «Южно-русское крестьянское хозяйство» (1891 г.).

А в воскресные дни и часы отдыха Иннокентий Петрович на коленях ползал по пескам Каменских кучугур, раскапывал в них бусинки скифских украшений, наконечники татарских стрел.

Дома открыл мастерскую по ремонту греческих амфор и скифских горшков.

— Иннокентий Петрович, а как были найдены амфоры?

— Их обнаруживали не раз. Последняя крупная находка была четвертого апреля тысяча девятьсот шестьде-

сят четвертого года. Во дворе Ильинского медпункта копали траншею для телефонного кабеля и наткнулись на клад — семнадцать остродонных амфор...

— Так неглубоко они были? — удивился я.

— Почти на поверхности. Находят редкие вещи люди и на огородах. Вы видели в музее краснофигурный лекиф — сосуд для душистого масла? История его такова: ко мне пришел мальчик, принес, как он сказал, «кувшинчик, который мамка в мусор выбросила». «Кувшинчик» долго стоял в доме как ваза для цветов, а потом упал, от него отбился кусочек, и «мамка в мусор выбросила». Мальчик спросил: «Может, он интересный, кувшинчик?» Я схватил, прижал находку к себе. «А где тот кусочек? Где мусор?» Нашли. И вот склеенный сосуд в музее. Вы обратили внимание, как он сохранился? Краска словно вчерашняя, свежая! А ей две тысячи с лишним лет. Работа греческих мастеров!

— Много вам ребята помогают?

— Разное приносят. Ядра чугунные тащат. Раньше ядра в утиль, в металлолом сдавали. Я добился, чтобы Вторчермет ядра не принимал: историческая ценность.

Рассказал Иннокентий Петрович и о других курьезах. В двадцатых годах в соседнем селе выкопали случайно каменную скифскую бабу. И установили на главной улице. Председатель сельсовета был человек серьезный, но не очень грамотный. Что это, мол, за рабовладельческая баба вместо настоящего исторического рабоче-крестьянского монумента? И распорядился зарыть ее снова. Сейчас над ней стоит школа. А баба под школой.

Легендарный это край, сказочный! Лежат в песках на берегу Каховского моря стрелы, завершившие свой коварный полет двадцать пять веков назад. Лежат украшения давних племен и народов — бусы, перстни. Ждут своей второй жизни скрытые почвой диковинные сосуды эллинские. И несмышленыши тащат в утиль чугунные ядра...

Перемешалось множество эпох. Чего только нет в каменской земле! И еще есть в ней вещи страшные, зловещие: мины и снаряды, оставшиеся от Отечественной войны. Каждый год извлекают из этой земли до тысячи взрывоопасных предметов. И каждый год — несчастные случаи. Перед моим первым приездом в Каменку подорвался

мальчик на противотанковой мине: мина деревянная, магнитные миноискатели ее не обнаружили. А в другой раз приехал — узнал, что еще трое ребят погибло: артиллерийский снаряд выкопали...

Музей в Каменке не один. Есть музеи при школах. Поисками, исследованиями занимаются ребячьи клубы.

Клуб «Красная гвоздика» провел операцию «Севастополь — Каменка-Днепровская», во время которой ребята разыскали 26 жителей Каменки, освобождавших Севастополь, и жителей Севастополя, принесших освобождение Каменке. И встретились, с кем удалось, и поздравительные открытки в День Победы послали.

А пионеры первомайской школы помогли заслуженной учительнице РСФСР 87-летней Надежде Алексеевне Дубининой из города Туринска, Свердловской области разыскать место захоронения ее единственного сына Николая Уткина, младшего лейтенанта, танкиста, погибшего на подступах к Днепровке.

Двадцать четыре года спустя после гибели офицера они послали его матери шкатулку с землей с могилы, установили в школе портрет танкиста. Встречали родственников Николая Уткина, приезжавших на место его гибели.

Беспокойно и всепроникающе ребячье племя!

Учатся ребята, помогают убирать урожай, шефствуют над молодняком на фермах, собирают металлолом и макулатуру, сажают деревья. И ведут обширнейшую переписку с городами в Союзе и за рубежом.

Интернациональный клуб большебелозерской школы № 1 переписывается с детьми Франции, Болгарии. Ученики благовещенской школы получили от польского художника Закржевского 26 гравюр, на которых изображены ленинские места в Польше. В адрес этой же школы пришли документы из Братиславского исторического музея и из финского города Тампере. А ребятам каменско-днепровской школы № 1 редакция «Юманите», с которой они ведут переписку, прислала фрагменты фильма о жизни В. И. Ленина во Франции, созданного французскими коммунистами.

Ребята целеустремленны и поставленной цели добиваться умеют.

В Каменке ко мне в гостиницу пришли две девочки — Таня Малахова и Маша Мусиенко.

— Вы выступали в шестой школе, а у нас, в первой, нет и завтра уезжаете. Мы очень просим вас: напишите страничку или две из фронтовых воспоминаний для нашего школьного музея. Вы попишете, а мы тихонько посидим... Понимаете, это очень нужно...

— Понимаю! — ответил я. — Но дружба должна быть обоюдной. Я буду писать сочинение для вас, а вы для меня.

— А что мы для вас можем сделать?

— Давайте, девочки, проведем литературный конкурс. И каждый желающий пусть напишет страничку или две... О хорошем человеке, об одном доме, о том, что вам дорого. Короче, девиз конкурса такой: «С чего начинается Родина...»

Идея провести литературный конкурс в Каменском районе возникла неожиданно. И с ней я обратился в районный комитет комсомола. Там поддержали меня.

Интересно, какими глазами смотрят ребята на землю, на которой живут. В каких образах она перед ними встает? С чего начинается Родина?

И вот передо мной ребячьи сочинения.

Валерий Трегубов, ученик 6 «В» класса средней школы № 6 Каменки-Днепровской:

«...Это произошло в годы Великой Отечественной войны в селе Первомайском, когда наш район был оккупирован фашистами.

Советскому командованию надо было достать сведения о расположении тыловых частей немецких войск. Для этого оно послало трех разведчиков.

Когда гитлеровцы узнали, что разведчики находятся в селе, то начали их искать.

Один разведчик зашел во двор Полины Самойловны Василенко. Она спрятала его в замаскированную яму.

Староста села видел, что какой-то человек зашел во двор этой женщины. Староста спросил у нее: «Кто этот

человек?» Полина Самойловна ответила ему, что этот человек ее брат. Староста ушел.

Два других разведчика зашли в соседний двор, но там их схватили фашисты. Допрашивали их очень долго, но они ничего не ответили гитлеровцам. Фашисты забрали этих разведчиков и увезли их с собой.

В доме Полины Самойловны немцы поставили рацию и поселили нескольких радистов. Еду разведчику нельзя было передать, потому что фашисты могли его обнаружить. Полина Самойловна послала еду со своей дочерью Мотей. Мотя отнесла еду и вернулась.

Разведчик прожил в яме два месяца.

Однажды фашисты начали выгонять жителей из села, потому что они строили в селе укрепления против советских войск. Полина Самойловна сообщила об этом солдату. Ночью он вышел из укрытия и послал дочь Полины Самойловны в разведку. Мотя вернулась и рассказала ему все, что видела. Она провела разведчика мимо патрулей за село.

В плавнях разведчика схватили фашисты, но он сбежал от них, пересек линию фронта и передал сведения советскому командованию. И еще много раз ходил он в разведку.

Сейчас этот человек жив. Его зовут Николай Николаевич Сысоев. Он живет в городе Фрунзе, а Полина Самойловна — в Каменско-Днепровском районе, в селе Первомайском.

Н. Н. Сысоев переписывается с П. С. Василенко. В письмах он благодарил ее за спасение и рассказал о дальнейших событиях, которые были в его жизни.

А Полина Самойловна — моя бабушка. И все, о чем я написал, я узнал от ней самой и от моей мамы...»

Восьмиклассница большезнаменской школы № 6 Галина Стеценко посвятила свое сочинение матери: «В черном вдовьем платке, повязанном по самые брови, мать бежала вслед за сыном, уходившим в солдатском строю, и душила в себе рвущийся крик, из последних сил улыбалась ему помертвелыми губами, чтобы ободрить его, идущего на смертный бой...»

А десятиклассница Наталия Кошиская свои размышления на украинском языке связала с «найстаршим листоношею села» Миколой Яковлевичем Концуром, ибо из сумки почтальона тянутся нити во все концы Советской

страны. А среди ее односельчан есть и летчики, и полярники, и мореплаватели... И желает Наташа того, чтобы почтальон всегда приносил людям радости, и никогда — печали. Родина начинается с отчего порога и простирается далеко-далеко. Вот почему написала Наташа о почтальоне... Родина глазами ребят!

Каждый раз, оказавшись на земле Каменской, я вспоминаю дни и ночи конца сорок третьего и начала сорок четвертого. Вспоминаю мокрые снегопады и зимнюю распутицу. Вижу орудийные вспышки — наш новогодний салют. Проплывают передо мной дымы артподготовок. Бушуют бои, и падает на деревню Белозерку взорвавшийся в воздухе штурмовой самолет «ИЛ-2».

Кадры меняются... Танки дымят. Наши, подбитые немцами у Благовещенки семидесятки.

Дождь кропит. Стоит на оголенном бугре «девятка». Седьмой день стоит. Притаилась, замерла. Ждет бронеатаки. Каждое утро начинается с того, что за грядой холмов тяжело гудят десятки танковых моторов. «Пойдут или не пойдут?»

А позади «девятки» — рвы и минные поля.

...Поднимают бойцы вверх автоматы, карабины, дают несколько залпов в воздух — хоронят командира батареи старшего лейтенанта Георгия Полтавцева.

Глухие гитары,
высокая речь...
Кого им бояться,
и что им беречь?
В них страсть закипает,
как в пене стакан:
Впервые читаются
строфы «Цыган».
...Тихие гитары,
стыньте, дрожа:
Синие гусары
под снегом лежат!

Грязь, грязь, грязь... Тракторы, сцепленные поездом, еле волокут пушки.

Это в конце, а в начале была высота 95.4.

Я не сразу теперь нашел ее. И это не странно: пейзаж изменился. Раньше с одной стороны ее был лес, плавни, с другой — поле. Теперь поле перерезал оросительный

ный канал, а там, где были плавни, шумят волны Каховского моря. Море пришло к высоте, и она стоит почти на его берегу... Над нею чайки летают.

Над нею и над соседним курганом, на котором воздвигнут обелиск с надписью «Слава героям гражданской войны!».

Мне рассказали: в жестоком и неравном бою с врангелевцами здесь погибла большая часть 268-го стрелкового полка. В память о павших красноармейцах и поставлен здесь обелиск. Поставлен недавно. Прежде его не было.

Стоят, как братья, два старых скифских кургана, и на одном из них гремел бой в гражданскую, на другом — в Отечественную.

Здравствуй, курган!

Я пришел тебе поклониться. Ты выстоял тогда вместе с нами, и мы не отдали тебя!

С тех пор все вокруг изменилось. Нет по соседству старенькой ветряной мельницы, леса нет. Море рядом, канал. Один ты не изменился, старожил и ветеран. Сколько тебе уже? Две тысячи с половиной?

Нет, не все должно меняться и уходить. Кто-то должен и остаться, чтобы помнить...

Ты помнишь?

Ну, конечно, помнишь. Следы тех боев еще остались на тебе. Мелкой-мелкой морщинкой стала траншея. Она бежит вниз, а там, внизу, две впадины — это места наших блиндажей.

Снова и снова проходит передо мной тот бой. Бьет из карабина Головкин. Дает длинные очереди из автомата Лиманский. Целится из парабеллума Земцов. Одна за другой летят гранаты из рук Чернова.

Последние патроны, последние гранаты... И вдруг голос Шатохина, который не отчаялся, не бросил молчавшую трубку, а слушал, слушал, слушал... Голос: «Есть связь с дивизионом!»

И ты, курган, содрогался от взрывов, и горела твоя трава.

У скифов было правило: на пирах по одной чаше пил тот, кто умертвил одного врага, по второй чаше подносили тому, кто уничтожил двух...

Мы имели тогда право на много чаш. Верно ведь?

Пришли тогда к тебе смелые ребята и отстояли тебя. Где они сейчас? Этого я не знаю. Может, прочтут о нашей с тобой встрече и напишут. И тогда я опять к тебе приеду и расскажу.

Я помню о тебе. Всегда-всегда помню. У меня есть в Москве твои фотографии. Их прислали ребята, школьники села Балки. Нащелкали целую кучу, снимали тебя со всех сторон. Снимали во время зимней оттепели и написали письмо: «Снега на кургане нет, он покрыт прошлогодней травой, может, он сейчас не такой красивый, а следующие снимки мы сделаем весной, когда на нем цветы...»

А ты для меня всегда красивый. И тригонометрический знак над твоей головой похож па шпиль воинского шлема.

От этого тригонометрического знака «танцуют» топографы-землеустроители, наводят на него объективы приборов те, кто прокладывают каналы и ведут распланировку лесных полос.

Ты работник, старый курган. Ты хозяин и дозорный этой земли.

Еще раз скажу: мы умирали и воскресали на этой земле и не знали, как она прекрасна!

Люди часто спорят, говорят о счастье. А для меня счастье — видеть с твоей вершины то, что делается вокруг.

Счастья абсолютного не бывает. Оно в сравнении. А я могу сравнивать. Я был здесь четверть с лишним века назад. И не просто очевидцем. Хочу сказать тебе, старый курган: недаром, недаром, недаром бился здесь с врангелевцами 268-й полк, а потом бились мы с фашистами.

Я ухожу. Но помни: я всегда с тобой. И если вдруг трубачи затрубят тревогу и ты позовешь меня — я снова приду к тебе. И все солдаты, что живы, к тебе придут! И дети солдат!

Пишу последние страницы этой книги там же, где начал ее — недалеко от станции Лобня.

Шумят пригородные электрички. Самолеты поднимаются с Шереметьевского аэродрома. А под крыльями у них — зенитная пушка. Она напоминает о минувшей

войне. Она говорит: до Москвы врагу оставались считанные километры, а пал все-таки Берлин.

Тогда, в сорок пятом, я в Берлине не был. Приехал двадцать с лишним лет спустя. И утром увидел из гостиницы «Беролина» холм, поросший лесом. Спросил, что это такое? Мне ответили: «Монт Кламотт». Монт — по-французски гора, кламотте — по-немецки щебень, кирпичный лом.

Такие горы две. Они из кирпичей и камней развалин...

Горы порастают травой, лесом. Но не может порасти травой забвения память человеческая! Помнить! Все помнить! Чтобы не вернулось прошлое на новой спирали!

Я написал эту книгу для того, чтобы рассказать, как бились наши сердца в Отечественную войну и как бьются они сейчас.

Не во всех местах, с которыми меня связывают события военных лет в нашей стране и за рубежом, я успел побывать. Не всех людей, которых искал, встретил. Написал, что видел и что мне известно. Старался ответить на вопрос читателей, будет ли продолжение. Это и есть продолжение. Не окончание. Жизнь движется вперед, раскрываются новые судьбы, стираются «белые пятна». Кто скажет, какие могут произойти встречи и какие находки и известия принесут письма и телефонные звонки?

Многое еще предстоит узнать, многому удивиться, и потому — продолжение следует...

1967—1970 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Борис Андрианович Егоров
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Редактор *Т. Д. Хорькова*
Художник *В. Г. Карабут*
Художественный редактор *Г. В. Гречихо*
Технический редактор *М. В. Федорова*
Корректор *Ф. М. Горелик*

Г-13481 Сдано в набор 30.7.71 г. Подписано к печати 24.4.72 г.
Формат бумаги 84×108 1/32. Печ. л. 7
Усл. печ. л. 11,76. Уч.-изд. л. 12,041
Бумага № 1. Тираж 65 000 экз.
Изд. № 4/4145 Цена 60 коп. Зак 694

Ордена Трудового Красного Знамени
Военное издательство
Министерства обороны СССР.
103160, Москва, К-160
1-я типография Воениздата
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3